

О Реформатских и Головачёвых, ОПОЯЗе и ЛЕФе, театральной и музыкальной жизни Москвы 1920-х годов

<http://oralhistory.ru/talks/orh-345-346>

🎙 20 ноября 1973

Собеседник

Реформатский Александр Александрович

Ведущий

Дувакин Виктор Дмитриевич

Дата записи

Беседа записана 20 ноября 1973 и опубликована 27 апреля 2020.

Введение

Беседа с выдающимся лингвистом Александром Реформатским посвящена воспоминаниям о научной и культурной жизни Москвы 1910-х — 1920-х годов. Александр Александрович рассказывает о своих родственниках и предках Реформатских и Головачёвых, описывает детские воспоминания об Арбатских переулках и о событиях 1905 года. Он вспоминает учебу и учителей в прогимназии Залесской и гимназии Флёрова. В юности Александр Александрович страстно увлекался музыкой и театром, пытался написать оперу, участвовал в домашних спектаклях и любительской театральной студии, тайком от домашних поступил на драматические курсы при Театре РСФСР 1-й. Однако любовь к театру не смогла победить тягу к науке. Реформатский рассказывает о двух периодах учебы в Московском университете и аспирантуре в РАНИОН, вспоминает Московский лингвистический кружок и ОПОЯЗ. Он объясняет, почему решил порвать с литературоведением и углубиться в лингвистику. Кроме того, он много говорит о своих учителях и коллегах.

Благодарим Марию Александровну Реформатскую за предоставленные фотографии.

Семья Реформатских

Виктор Дмитриевич Дувакин: Александр Александрович, я вас прошу рассказать о времени, о себе и о тех, с кем вы встречались, как можно больше, как можно точнее, как можно подробнее. Желательно все-таки, чтобы вы не читали непосредственно напечатанный текст, а была бы живая речь. Тем более что раз это есть, то оно уже есть, так что всякое ваше отступление будет добавкой. Это очень хорошо. Впрочем, я вас ни в чем не стесняю. Пожалуйста, только начинайте с года рождения и точной даты, чтобы потом не искать ее.

Александр Александрович Реформатский: Да искать ничего не надо. Правда, она несколько ниже должна быть по замыслу, но я просто скажу, что по просьбе Виктора Дмитриевича Дувакина от Московского университета я хочу поделиться своими воспоминаниями о том, как мы росли, чему и у кого мы учились, и охватить примерно в этом рассказе, скажем, треть первую XX века. Так как мне сейчас семьдесят три года, то это уже далекая перспектива, но тем не менее иной раз приятно ее вспомнить.

В. Д.: Вы ровесник века.

А. Р.: Нет, я его чуть старше, потому что 900-й год — последний год XIX столетия. И бывает так, что мне уже семьдесят четвертый идет...

В. Д.: А веку еще...

А. Р.: А веку еще семьдесят третий идет, и некоторое время он от меня отстает, а потом, глядишь, догоняет. Ну что ж, я тогда с ним в ногу шагаю.

Итак, как мы росли и учились. Родом я коренной москвич. Родился, как я уже сказал, в 900-м году, в октябре месяце и всю свою жизнь прожил в Москве, хотя отец мой не был по роду-племени москвичом. Он родился в селе Обжериха Юрьевецкого уезда Костромской губернии в семье сельского священника.

Дед мой по природе был умным, а по характеру деловым. В зрелые годы он стал настоятелем Кинешемского собора. Не могу не вспомнить одну смешную историю. Ехал я на пароходе как-то. И одна ленинградка мне говорит: «А вы знаете, в этом соборе, — имелся в виду Кинешемский собор, — нам рассказывал экскурсовод, служил когда-то отец Петра Ильича Чайковского». Я подумал и сказал: «Вряд ли это возможно. Во-первых, потому что отец Петра Ильича Чайковского был дворянин, а дворяне в церквах не служили. Во-вторых, отец Петра Ильича Чайковского был директором Воткинского завода. Это на Каме, а не на Волге. А в-третьих, потому что настоятелем этого собора был мой дед». Она сконфузилась. Но я еще раз подивился, как иногда врут экскурсоводы.

В. Д.: Очень хорошо!

А. Р.: Мой отец и братья учились в церковно-приходском училище, потом переходили в Костромскую семинарию, окончив четвертый год обучения в которой, бухались отцу в ноги с просьбой отпустить их в Казанский университет. Дед это им разрешал. И вот они и вышли в люди.

Старший брат, Николай, был впоследствии известным психиатром. Его сочувственно поминает в своих письмах Антон Павлович Чехов. Дядя Николай дружил с Львом Толстым, показывал Толстому в мещерской больнице, где тогда дядя был заведующим, синемаатограф, как в то время говорили. На руках у дяди умер его пациент Глеб Успенский.

Следующий брат, Сергей, мой любимый дядя, был химик-органик, работал в Киевском университете Святого Владимира. В последние годы дядя Сергей был членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Все братья Реформатские были певуны. У Сергея, в частности, был красивый лирико-драматический тенор.

В. Д.: Вы немножко вспомните про этого дядю, который потом был членом-корреспондентом, ученым.

А. Р.: Да, он был ученый, химик-органик. У него был известный учебник органической химии для высших учебных заведений. И его именем названа какая-то химическая реакция. Это можно посмотреть даже в Кратком энциклопедическом словаре. Так вот...

В. Д.: Ага, так он сам, так сказать, целый ряд трудов имеет?

А. Р.: Да, не зря же его все-таки членом-корреспондентом избрали.

В. Д.: А отец не был членом-корреспондентом?

А. Р.: Нет, отец не был.

” Все братья Реформатские были певуны. И у Сергея, как я сказал, был прекрасный лирико-драматический тенор. Вот как-то, еще будучи молодым, шел он ночью, возвращаясь с какой-то пирушки, и пел арию князя из «Русалки». Вдруг кто-то остановил его. Он замолк. А встречный и говорит: «Так что же вы замолчали? Вы так хорошо поете». «А кто же вы?» — спросил дядя. «А я Собинов». А ведь в то время эта партия князя была одной из любимых у Леонида Витальевича. Вот.

В. Д.: Очень хорошо. И отец ваш тоже пел?

А. Р.: У отца был бас — basso cantante. Он пел вот такие всякие там «О скалы грозные...» и другие вещи. Так что в этой

атмосфере я с детства жил. Пели братья, и они любили, когда собирались вместе, трио петь «Ночевала тучка золотая» и так далее. И это было очень умирительно.

О преподавательской деятельности отца

Отец мой тоже был химик, но только по неорганической химии. Они оба с братом прошли в Казани школу Бутлерова у Александра Михайловича Зайцева. Я помню Александра Михайловича Зайцева, так как присутствовал на защите диссертации моего отца в 1907-м году в Казани. Александр Михайлович был очень милый и симпатичный человек, а об остальном мне не судить. Во всяком случае, он воспитал и Сергея Николаевича Реформатского, и Александра Николаевича Реформатского. А в 90-х годах отца перетянул в Москву известный химик Марковников Владимир Васильевич. Таким образом отец стал москвичом и с тех пор уже не изменял Москве. Он преподавал в самых разных учебных заведениях. Первоначально в Московском университете, в Остоженском коммерческом училище, где теперь иностранный институт находится. А когда-то его кончал Гончаров, это училище.

В. Д.: Это где рабфак имени Бухарина раньше был?

А. Р.: Да, это был Пречистенский рабфак, на котором я позднее преподавал. А отец в нем преподавал еще когда это было коммерческое училище.

В. Д.: С коринфскими колоннами такое?

А. Р.: Да, да, да.

В. Д.: Помню.



Московское Императорское коммерческое училище на Остоженке, д. 38. 1913–1914. Автор фото Э. В. Готье-Дюфайе. Источник pastvu.com/p/21082

А. Р.: Вот. А потом и я преподавал в иностранном институте пять лет, так что вообще этот дом мне хорошо известен. А позднее отец стал преподавать и в Высшем техническом училище, и на Высших женских курсах, одним из организаторов которых был он вместе с Сергеем Алексеевичем Чаплыгиным, с которым, помню, меня отец знакомил на стройке нового здания Высших женских курсов на Пироговской улице.

В. Д.: На стройке еще?

А. Р.: Да.

В. Д.: Значит, оно построено...

А. Р.: Да, это было в начале 10-х годов, очевидно, так я полагаю.

В. Д.: Вы себя рано помните?

А. Р.: Да, себя я помню с двух... Так вот два года три месяца примерно. Вот первые воспоминания, которые у меня существуют

в голове. Ну, надо сказать, что...

Да! Еще в университете Шанявского отец был и организатором, и помощником, и душеприказчиком покойного Альфонс Леоновича Шанявского вместе с Варварой Алексеевной Морозовой. А я когда-то был студентом университета Шанявского, будучи гимназистом еще. Так что тут тоже целый переплет отношений.

Надо сказать, что педагог и оратор отец был великолепный. Хорошо поставленный голос был, находчивый, никогда он не мекал, не мемекал, а всегда находил нужное слово и нужный оборот речи. Он как «апостол от Менделеева» прекрасно описан у Андрея Белого в книге «На рубеже двух столетий».

В. Д.: Так это вот отец, а не дядя, да?

А. Р.: Отец, отец, отец. Андрей Белый был студентом моего отца когда-то. И вот у них потом возникла переписка на эту тему. Она опубликована Надеждой Васильевной Реформатской в «Вопросах литературы», 1972, №10. У отца был знаменитый учебник неорганической химии, который выдержал семнадцать изданий. Начался он после 905-го года, а последнее издание было уже в 30-х годах нашего века.

В. Д.: А дожил он до какого возраста?

А. Р.: Он дожил до конца 37-го года.

В. Д.: Так что все издания прижизненные?

А. Р.: Все его издания прижизненные, да. Он был прекрасный организатор, поэтому естественно, что, например, он участвовал в организации и женских курсов, и университета Шанявского, и Пречистенских рабочих курсов, где он тоже преподавал вместе с моей матерью. А сейчас же после революции он окунулся в организацию всех новых начинаний типа НТО ВСНХ, Главпрофобр, Комитет химизации. И у меня даже сохранилась очень интересная его фотография, где он снят в группе вместе с академиком Прянишниковым, Брицке и Валерианом Владимировичем Куйбышевым. Прекрасная фотография. Это был Комитет по химизации при ВСНХ.

В. Д.: В ту пору, когда Куйбышев возглавлял ВСНХ?

А. Р.: Да, да, да. Это было тогда.



Слева направо: Дубов П. И., Куйбышев В. В., Глебова В. И., Прянишников Д. Н., Реформатский А. Н., Брицке А. В. Источник ru.openlist.wiki

Отец мой был человек волевой. Это был типичный демократ-позитивист XIX века, последователь естественно-научного материализма. Он любил говорить: «Существа — те же вещества». Что мне очень не нравилось, конечно. Но его волевая деловитость, его здоровый оптимизм, верность принятым на себя обязательствам, такая неуклонность и непреклонность в том, чтобы добиваться цели, были для меня прекрасной жизненной школой.

В. Д.: Александр Александрович!

А. Р.: Да?

В. Д.: Может быть, вы более развернуто еще что-нибудь хотите сказать? У вас тут очень конспективно было.

А. Р.: Ну, видите ли...

В. Д.: Об отце еще добавьте что-нибудь. Это все-таки случай редкий, чтобы непосредственно от сына большого ученого и самого большого ученого, чтобы так...

А. Р.: Вот видите, в чем дело, я считаю, что отца его таланты погубили. Когда он переехал в Москву по инициативе Марковникова, то они вместе работали над исследованием болгарского розового масла. Это была работа настоящая исследовательская. Потом он написал диссертацию о непременных — фу, черт, не помню я точно названия этого химического — рядах спиртов жирного ряда¹. И он ее защищал в Казани в 907-м году. Я присутствовал, как говорил уже выше, на этой защите. Но, собственно, дальше по науке отец не пошел. Он всегда заведовал, организовывал, великолепно пропагандировал, читал, но наука встала. Его брат Сергей, старший, был гораздо в этом отношении более научным умом. Ну, каждому дано свое. У отца был один талант, у того — другой талант. Теперь я скажу о моей матери.

¹ Одноатомные непредельные спирты жирного ряда : Синтез спиртового ряда $C_nH_{2n-5}OH$ / [Соч.] А. Реформатского, прив.-доц. Импульн-та. – Москва : тип. т-ва И. Д. Сытина, 1908.



Александр Николаевич Реформатский с женой Екатериной Адриановной Головачёвой-Реформатской

В. Д.: Но еще, может быть, об этом дяде добавьте... Я, по правде говоря, не знал, что существуют два Реформатских.

А. Р.: Ну как же?

В. Д.: Кроме вас, конечно. Я знал, что есть Реформатский — химик. Но что есть Сергей и Александр, я этого...

А. Р.: Да, да, да. Плохо читаете энциклопедии и словари. Там это все сказано.

В. Д.: Да.

А. Р.: Да, фамилии-то надо перелистывать. Иной раз кое-что и найдешь, наткнешься на что-то интересное.

В. Д.: И который же из... Значит, научно значительнее Сергей?

А. Р.: Сергей, да, безусловно. А в смысле такой популярности, известности отец более известен. Поэтому их иногда путают, соединяя в одно лицо, но это не надо делать. Они разные. Дядя Сергей был удивительно мягкий человек, и это был мой любимый дядя по отцовской линии. С ним было всегда уютно, интересно. Он очень много пел, приезжая в Москву, дома. И меня это всегда радовало больше, чем всякие химии.

В. Д.: А вы химией совсем не увлеклись?

А. Р.: То есть единственная наука, которую я ненавижу и терпеть не могу, — это химия.

В. Д.: Это чудесно!

А. Р.: Вот видите, как бывает. Это диалектика.

В. Д.: Да.

А. Р.: Тут ничего не поделаешь.

В. Д.: Единственная, по которой я очень плохо учился. По всем остальным успевал.

Дворянский род Головачёвых

А. Р.: Но дело не в этом, а дело в том, что все-таки у меня не только было отталкивание от чего-то, но и следование чему-то, и здесь, конечно, линия матери сыграла роль.

Мать моя, Екатерина Адриановна Головачёва, по роду-племени происходила из мелкопоместного тверского дворянства. У меня до сих пор хранятся родословные рода Головачёвых, сделанные еще в XVIII веке. Среди этой фамилии были некоторые известные люди. Обычно чаще всего упоминают не вполне интересного представителя этой семьи — Аполлона Филипповича Головачёва. Это был двоюродный брат моего прадеда. Он был один из участников слепцовской коммуны, описанной Лесковым и многими другими. И был женат на Авдотье Яковлевне Панаевой, у которой от этого брака родилась Душа, очевидно, Евдокия, как я понимаю. И эта Душа была писательницей, оказывается, под фамилией Нагродская. Кстати, это я узнал не из семейных преданий, а мне об этом рассказал Корней Иванович Чуковский, с которым мы как-то стали перебирать разные некрасовские дела. И вот тут наткнулись на эту проблему. Но повторяю, что этот Аполлон Филиппович, кроме того что он был мужем Панаевой, собственно, ничем особенно не знаменит. Он был литератор тогдашнего времени.

А вот другой его двоюродный брат, мой прадед, Алексей Адрианович Головачёв, — это была фигура крупная и интересная. Он был публицист-экономист. Был он заместитель председателя Тверского комитета по освобождению крестьян, в свое время разогнанного Александром II.

” И смешная история: все попали в ссылку, начиная с председателя Алексея Михайловича Унковского, а мой прадед не попал в ссылку по такой смешной причине, что он оказался под судом в это время по ложному доносу. А подсудных не выслали.

А когда дело разобралось, и это все разъяснилось, то уже Унковский и другие деятели вернулись, так что ссылка его избежала, моего прадеда. Так вот он не только дружил с Унковским, но и с Салтыковым-Щедриным, и с Некрасовым в особенности. И он сотрудничал в «Отечественных записках». Кстати, по некоторым публикациям официальным последних годов его цитировал Маркс, его работы по крестьянскому вопросу. У меня хранится первое издание перевода «Капитала» Маркса 72-го года, принадлежавшее прадеду. Это из его библиотеки.

В. Д.: Это перевод чей? Переводчик кто?

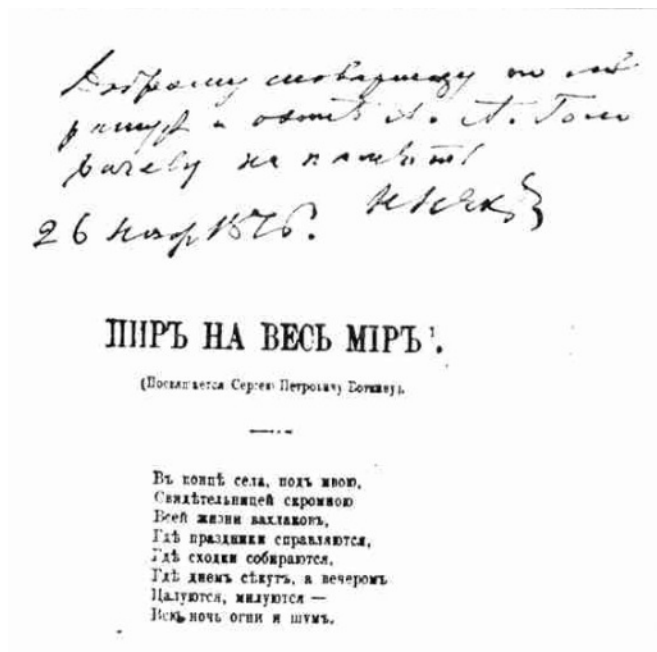
А. Р.: Даниельсон был, а начал-то это Лопатин.

В. Д.: Вот я Лопатина помню.

А. Р.: Да, начал Лопатин, а кончил Даниельсон. У меня этот том есть, я вам могу с удовольствием показать его. Прадед не только сотрудничал в «Отечественных записках» с Некрасовым, но они много охотились вместе, так как были оба страстные охотники. И у нас хранится переплетенный оттиск вырезанных цензурой частей «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир» — с авторской надписью «Доброму товарищу по литературе и охоте А. А. Головачёву на память. Н. Некрасов. 26 ноября 1876 года».

В. Д.: Это до сих пор у вас?

А. Р.: Эта страничка опубликована Надеждой Васильевной Реформатской в журнале «Юность», 1973, номер шестой, страница семидесятая.



В. Д.: А подлинник у вас еще?

А. Р.: Он у Надежды Васильевны сейчас находится.

В. Д.: В общем его надо в Ленинскую сдать.

А. Р.: Ну да уж. Так я и сдам, пока я жив! Ну, прадеда я, конечно, не мог помнить хорошо, потому что в 903-м году он скончался. У меня сохранились его портреты в разных видах. Его белая борода и всякие рассказы про его чудачества, которые в его преклонные годы у него проявлялись очень забавно. Начинает вдруг страшный бум подымать: где его «пипочка» — трубка. Ему говорят: «Алексей Адрианович, да она у вас в зубах». Тогда он еще больше сердился: «Дак почему она у меня в зубах?» Вот на эту почву всякие и были семейные предания.

Зато деда своего, Адриана Алексеевича Головачёва, я очень хорошо помню. Это был мой самый любимый родственник из всех. Он был врач по профессии. И проделал три войны. Был в 77-м году на Шипке, где он дружил с Веймаром, который в свое время на черном коне Варваре вывез Кропоткина из Николаевского госпиталя. Был он хорошо знаком со Скобелевым. И была такая его старая шинель, которую когда-то надевал у костра Скобелев. И назывался у нас потом воротник от этой шинели скобелевским воротником.

В. Д.: Хорошо!

А. Р.: Он дожил до детства моей дочери и был у нее тоже воротником. Так что не один Скобелев его носил. Вот.

В. Д.: А родился он в 50-х годах?

А. Р.: Кто?

В. Д.: Дед.

А. Р.: Дед родился в 1845 году, умер в 917-м.

В. Д.: Мой отец участвовал тоже в этой войне.

А. Р.: Вот видите как. А у меня еще хранится фотография у костра, на которой сняты отец, Веймар и другие, кто там были на Шипке. Это все было на Шипке.



Адриан Алексеевич Головачёв (первый слева) с коллегами на турецкой войне. 1878

В. Д.: Значит, он уже воевал в офицерском чине?

А. Р.: Он был молодым еще тогда, да.

В. Д.: Ну, все-таки 77-й...

А. Р.: В 77-м.

В 94-м году он организовал отряд Красного креста и уехал под Мукден и Харбин заведующим этим самым отрядом. А когда ему было уже семьдесят лет, в 915-м году, он опять поехал на фронт. И никак его не могли отговорить. Попал в Лодзинский мешок, скакал верхом под артиллерийским обстрелом. Вернулся совершенно больным, но чуть-чуть выправился, как взялся возглавлять два госпиталя: один — в Ржеве, а другой — в Серпухове. Так что ему приходилось на неделе два раза туда-сюда ездить, как говорится. И он там делал операции, катался на лодке и даже влюблялся в молодых докториц.

В. Д.: Очевидно, это семейная черта (*смеется*).

А. Р.: Дед был человек очень забавный. Он был чудаком, приятель Саввы Мамонтова, знал и его артистов. Был большим другом и кумом Константина Степановича Шиловского, по сцене Лошिवского. Это автор куплетов Трике в опере «Евгений Онегин» в обоих вариантах. Дед мой с ним очень дружил. Дед играл на виолончели и даже в оркестре под управлением Фитценхагена на барабане. Потом меня учил этому искусству.



В квартире доктора Верёвкина (стоит). Вечер музицирования врачей детской Софийской больницы. С виолончелью – Адриан Алексеевич Головачёв. Москва, 1880-е гг.

В. Д.: И притом был врач?

А. Р.: Да, он был всю жизнь, до конца своей жизни врачом.

В. Д.: Врач какого профиля? Хирург?

А. Р.: Хирург был и детский врач одновременно, потому что он одно время заведовал Софийской детской больницей в Москве. А потом перед уходом на пенсию он работал главным врачом во Владимире, в губернской больнице, с которой у меня связано много воспоминаний детства. Я этому моему любимому деду обязан любовью к собакам, к лошадям, к охоте, к сельскому хозяйству, к кораблестроению и очень-очень многому. Мать моя была у него единственной дочерью. Она имела, очевидно, литературные способности.

В. Д.: А он когда умер?

А. Р.: Кто? Дед? Я уже говорил, в 17-м году.

О матери

Мать написала книги «На южном берегу Крыма» и «Люди мысли и правды» о Белинском, Герцене и других. Она была преподавательницей. Кстати, очень любила и ценила театр, писала нам, детям, прекрасные пьески для наших детских домашних спектаклей.

Когда матери было уже больше сорока лет, она поступила на Высшие женские курсы и окончила их все на «весьма удовлетворительно», то есть на «отлично», как теперь говорят. И я впервые от нее услышал фамилию Ушаков, которому она сдавала экзамен и была очень рада, что он ей поставил «весьма удовлетворительно».

В. Д.: Это, значит, уже в советское время?

А. Р.: Это были 10-е годы.

В. Д.: Ну, «весьма удовлетворительно» разве тогда ставили?

А. Р.: Тогда ставили «удовлетворительно», «весьма удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Три отметки было.

В. Д.: А я думал, что в первые годы советской власти...

А. Р.: И вот «весьма удовлетворительно» — это наше «отлично» теперешнее.

В. Д.: А по какой специальности она вышла?

А. Р.: Она была преподавательницей литературы и языка. И до зрелых, до пенсионных лет этим занималась.

В. Д.: Значит, на Высших женских курсах...

А. Р.: Вот кончила Высшие женские курсы, преподавала в гимназиях, позднее уже в возникших трудовых школах на почве гимназий. Гимназия Констан, гимназия Репман — вот те места, где, я помню, она преподавала. А в молодости она очень увлекалась театром, Ермоловой, конечно, Элеонорой Дузе. Была знакома с первой исполнительницей партии Татьяны в «Евгении Онегине» Марией Николаевной Климентовой-Муромцевой, чьи фотографии с дарственными надписями моей матери, девочки тогда, хранятся у меня. И вот эти интересы: филологические, театральные, литературные — идут от матери и от ее линии. И я пошел в них. Так же как и внешне, я не в Реформатскую породу. Вот этим я заканчиваю самую вводную часть нашего собеседования о том, откуда я родом, какого роду-племени и кто мои родители.



Екатерина Адриановна Головачева-Реформатская с мужем Александром Николаевичем Реформатским и сыном Сашей

В. Д.: Александр Александрович, ну это всё — прадед, дед, отец, мать. А братья и сестры были?

А. Р.: У меня была одна сестра, а братьев у меня не было никогда.

В. Д.: А сестра кем была?

А. Р.: А сестра была искусствоведкой, а потом перешла как преподавательница английского языка, и как-то ее судьба сложилась не очень складно. Но братьев у меня не было. И это, конечно, очень большой минус моего детства, потому что я в некотором роде был избалованным как первенец и как единственный сын. Но это не рекомендуется, вообще говоря.

В. Д.: И революцию, значит, вы встретили семнадцати лет.

А. Р.: Погодите, доберемся. Еще до тех пор целый ряд событий был, прежде всего, вроде того, что я родился. А потом уже всякие другие события.

В. Д.: Всякие там революции.

А. Р.: Там было многое.

В. Д.: Ну, давайте, теперь уже ваш собственный... Но попрошу вас упомянутых...

А. Р.: Это вы мне подскажите, кого надо прояснить. Это я сделаю.

В. Д.: Дальше вы тут же вокруг делаете такой медальончик. Есть такой не очень складный термин, так сказать, когда пишут обзорные главы литературные, то говорят, что вот этому посвятим медальон.

Детство

А. Р.: Ну вот, дело было не в медальоне, а несколько хуже. Как я уже сказал, я родился 4 октября 900-го года старого стиля, по новому это 17-е считается, а я потом пересчитал и выяснил, что 16-е.

В. Д.: Правильно.

А. Р.: Потому что надо двенадцать дней прибавлять. Так что я теперь этот день отмечаю. Когда-то его в Москве отметили грандиозно: бегством в 41-м году. Это как раз в день моего рождения случилось.

В. Д.: Простите, это в октябре было?

А. Р.: Да, да, да.

В. Д.: Ну, а вы?

А. Р.: Да и я.

В. Д.: Ах, мне показалось — января.

А. Р.: Точно. Аккурат. Такой вот у меня приятный день рождения был в 41-м году. Ну, до этого мы опять доберемся, а может, и нет.

Так вот, значит, родился в Савёловском переулке на Остоженке. Ныне он называется почему-то Савельевский. На втором этаже дома Гавриловых. Он и сейчас цел, маленький домик.

В. Д.: Весь или частично цел?

А. Р.: Да, с маленькими квартирками. Детство мое вообще прошло в переулках Остоженки, Пречистенки, Арбата. И вот этот пейзаж Москвы для меня является родным.

В. Д.: Последний год он почти весь был уничтожен.

А. Р.: Все-таки эти переулки Остоженки и Пречистенки еще не нарушены. А то, что делается по сю сторону Арбата, называется проспекты. Ну, там всякие «Мелодии» и прочие гастрономы. Одним словом, это не то, что я помню.

В. Д.: Вы читали Кропоткина, описание «Москва. Старая Конюшенная» в самом начале, на первых страницах «Записок революционера»?

А. Р.: Да, читал. Знаете, когда это было? В 915-м году, так что я с тех пор попризабыл. Вообще эта книжка мне нравилась, я ее читал с удовольствием.

В. Д.: Там как раз замечательное было описание этих самых переулочков. Вот интересно было, чтобы вы сравнили, насколько они в наше время...

А. Р.: Вот! А потом их великолепно описывал Борис Пастернак. Он тоже был уроженец этих районов и их любил всю жизнь.

Я бесконечно должен быть благодарен моим родителям за то, что я получил в детстве. А что я получил? Привычка к труду, широкое ознакомление с разнообразными явлениями жизни. У нас были кружки. Нам читали лекции: Минаков — по антропологии, отец — по химии. Мать нас учила приготовительным предметам. Учили нас и рисованию, и лепке.



Кстати, одной из моих преподавательниц была известная художница Наталья Сергеевна Гончарова.

В. Д.: Вот, пожалуйста, если вы что-нибудь о ней помните...

А. Р.: Что я о ней помню? Я помню, что она была среднего, если не выше среднего роста, темная, с прямым пробором. Почему-то под ее руководством мы из синей глины лепили синих кошек. Это было довольно нелепо. По-моему, преподавательница она была недаровитая. Это не ее было ремесло. Правда мы занимались не так долго с ней, но впечатление какого-то одухотворенного существа с каким-то очень светлым взглядом у меня осталось до сих пор. Так что, читая сейчас некоторые мемуары о ней, я невольно переношусь к этим картинам и к синим кошкам.

В. Д.: Ваш сосед, покойный теперь уже Сергей Павлович Бобров, подарил мне запись 59-го года, когда он сел перед менее совершенным микрофоном и рассказал, так сказать, свое впечатление, ощущение в связи с известиями о смерти Натальи Гончаровой в Париже. Это очень волнующий документ. Очень интересно.

А. Р.: Сергея Павловича я знал хорошо. И он бывал у меня, и я бывал у него. Но он был очень трудного характера человек.

В. Д.: Колючий!

А. Р.: И очень упрямый, поэтому с ним разговаривать подчас трудновато. Вдова его, Мария Павловна, до сих пор бывает у нас. Мы живем в одном парадном.

Так вот, возвращаясь к занятиям. Кроме рисования и лепки мы учились и ручному труду: выпиливание, металлопластика, столярное дело и так далее и так далее. А кроме того, даже и танцам учились. Такой был кружок. Я сейчас иногда встречаю одну из участниц этих самых групп. Это мать известных теперь ученых Владимира Андреевича и Бориса Андреевича Успенских, моих молодых друзей. А Густава Исааковна — их мать. И мы с ней, иной раз встретившись, вспоминаем, как мы учились танцевать миньон.

Мать моя играла на рояле не ахти как, но играла. И поэтому я с детства полюбил Моцарта. Помню, когда мнечто-то сказал, что Бетховен больше Моцарта, я горько плакал. И до сих пор я этому не верю. Хотя я никак не могу согласиться с книгой Георгия Васильевича Чичерина о Моцарте (она фантастическая книга), но сам Моцарт остается для меня божеством, которого Бетховен во мне не превзошел. Так вот, так начиналось мое детство.

Что я помню из первых воспоминаний? Вот эту квартиру в Савёловском переулке, маленькую, тесную. И помню, когда родилась сестра, ее крестины, когда я впервые понял, что такое пространство. То есть я был сзади, а комод был с другой стороны комнаты, между мною и комодом помещались и сестра, и купель, и еще что-то такое. Это, кстати, как-то не очень запечатлелось, а вот желтый комод и я совершенно в другой стороне, и понимание пространства — это было одно из первых моих впечатлений.



Кстати, в это же время отец записал в своей записной книжке, как я сочинил свое первое стихотворение. Оно очень забавное: «Скоро девушки придут, на горёди богорут». Всё! Это Хлебников.

В. Д.: Да.

А. Р.: Чистой воды Хлебников. Потом позднее, я этот день, 3 апреля по новому стилю, стал отмечать. Справлял и пятидесяти-, и шестидесяти-, и семидесятилетие своей литературно-художественной деятельности. И участвуют здесь многие: и молодые люди, и мои сверстники, и те, кто меня старше. Последний раз я в Ялте это встречал с Виктором Борисовичем Шкловским, моим близким приятелем.

В. Д.: Он записан мною.

А. Р.: И он всячески приветствовал этот день.

Воспоминания о событиях 1905 года

В 905-м году мы жили в Малом Лёвшинском переулке. Этот дом тоже сейчас жив, правда надстроен. И там я переживал 905-й год. Конечно, что я понимал тогда в этих делах? У нас собирались разные люди. Я тогда еще даже уловил, что среди них были эсдеки, эсеры, кадеты, а октябристов не бывало. Они о чем-то спорили, почему-то всякие флажки, цветочки развешивали. И о чем спорили я, конечно, не понимал, но мне очень нравилась одна дама, которая социал-демократической ориентации была. Поэтому я как-то выскочил на двор и стал скакать верхом на палочке с возгласом: «Я принадлежу к социал-демократической партии!» За что сын хозяина, старше меня, Андрюшка Немчинов меня отлупил. И я пришел к матери ревущий, что вот меня отлупили за то, что я принадлежу к социал-демократической партии. Но я думаю, что тут идейности было мало, но дама, которая принадлежала к этой партии, мне нравилась, это я понял сразу. Вот. Помню, пожар Пресни из окна смотрели мы. Помню стрельбу. Помню день похорон Баумана, когда родители вернулись с этих похорон страшно мрачными и печальными.

В 906-м году судьба моей семьи резко изменилась: отцу предложили быть директором очень серьезного и крупного учебного заведения. Это Практическая академия коммерческих наук, основанная в 810-м году на Покровском бульваре, — дом с колоннадой. Отец долго думал, но все-таки согласился взять эту должность. Очевидно, тут играло роль то, что он хотел дать нужное воспитание детям и обеспечить семью. Это было его главным стимулом. Но стоило это дорогого, потому что дело было поставлено там педагогически плохо. Много было совершенно ненужного, что надо было ликвидировать, переделать, реформировать, но отец с его волей, напористостью и энергией сумел преодолеть. И это учебное заведение стало в 10-х годах уже образцовым. Причем я это знаю от тех, кто кончал. Как ни странно, но оттуда выходили вовсе не только те, кто коммерчески продолжали жить, а и некоторые люди совсем другого толка. В частности, покойный ныне Владимир Ильич Нейштадт, член лингвистического кружка, филолог, переводчик и лингвист, кончил это самое заведение. И ныне здравствующий Владимир Дмитриевич Аракин, профессор англистики и скандинавист, тоже кончал Практическую академию. Они всегда с большим теплом вспоминали годы пребывания в этом учебном заведении. Там были громадные залы, были великолепные аудитории, что во время директорства отца приумножилось, как говорят.

Что, есть у нас еще запас?

В. Д.: Есть, есть!

А. Р.: Ну, иду, следую дальше. Мы попали в громадную казенную квартиру, которая занимала весь фасад всех колонн, которые видны с Покровского бульвара. Это было необыкновенно после маленьких квартирок в Остоженских и Пречистенских переулках, но это было удобно.

До 911-го года отец продолжал преподавать в университете и покинул его только вместе с другими многими в знак протеста против произвола министра Кассо. Но это знаменитое было дело.

В. Д.: Да.

Учеба в прогимназии Е. П. Залесской

А. Р.: Так. Тут у меня тоже появляется рубеж: я поступаю учиться в гимназию. Кружки и домашнее обучение кончилось. Спасибо тому, что я из него получил. Меня отдали в прогимназию Залесской. Спрашивается, почему не в Практическую академию, где отец был директор. А вот именно потому, что отец был директор. И с его точки зрения, правильной, педагогической, чтобы сын директора учился в том же заведении, где отец директор, — недопустимо. Это было правильно. Я попал в прогимназию Елизаветы Петровны Залесской, которая содержала еще известный педагогический магазин.

В. Д.: «Сотрудник школ».

А. Р.: «Сотрудник школ», который погиб от бомбы в 42-м году, а до тех пор он существовал. Елизавета Петровна была дама-

директриса, довольно такая томная, строгая, но хорошая по существу.

В. Д.: Ну, тогда-то это была, наверное, ее родственница, потому что мне помнится «Сотрудник школ» на вывеске А. К. Залесской.

А. Р.: Да нет, нет, они были, это ей же принадлежало. Мы у нее в гостях бывали в этом «Сотруднике школ». И по этим стеллажам бегали и играли в прятки. Как же, я прекрасно это все помню.

Обстановка в этой прогимназии была очень домашняя. Во-первых, были очень милые и приятные преподаватели: Елизавета Ивановна Блумфильд, которая была нашим руководителем, русский язык. Была там Лидия Игнатьевна Лебель — математичка. Нина Ивановна Захарова — немецкий язык. Мария Васильевна Алексеева — французский язык. Всеволод Сергеевич Ильин — чудак, охотник, натуралист, преподавал естествознание. И они же играли с нами иногда во всякие игры в перемену, так что все было по-домашнему, повторяю. Но я с благодарностью вспоминаю эту прогимназию. Там я подружился с многими, с которыми потом продолжал до восьмого класса учиться вместе.

Преподаватели гимназии А. Е. Флёрова

Но в 912-м году нашу прогимназию Кассо закрыл, в пятый класс не дал разрешения. А надо было — пятый класс, уже четыре класса работали. Пришлось перебазироваться в другую гимназию. Я попал в гимназию к Флёрову, где и проучился до восьмого класса.

В. Д.: В Мерзляковском переулке.

А. Р.: Да, Мерзляковский переулок. Это позднее была 10-я школа МОНО, потом ГОНО, а потом 110-я имени Нансена. И до сих пор она существует. Это было великолепное, по последнему слову техники построенное здание, где было не только много светлых аудиторий со всем оборудованием нужным, но были и прекрасные преподаватели. Конечно, не все преподаватели были хороши. Были у нас и преподаватели-монстры. Почему-то это, главным образом, были преподаватели иностранных языков и истории, последнее очень печально. Среди них, правда, был один замечательный педагог. Это Сергей Михайлович Чемоданов. Он впоследствии был известный музыкальный критик. Он очень интересно всегда нам рассказывал. И мы у него в кружке читали доклады о Яне Гусе, об английском парламенте, и он нас очень увлекал. А то, что он был сверх того и музыкант, к нему еще больше привлекало. Но остальные истории — это было просто посмешище.

Был один у нас такой Дмитрий Михайлович Савёлов, тенорок, селадон, чрезвычайно элегантный, который преподавал таким способом: он раскрывал учебник Платонова и говорил: «Господа! У вас на такой-то странице сказано так. Это неверно, господа. Нет, господа. Я вам скажу, господа...» И это самое «господа» повторялось невероятное количество раз. Мы стали считать хором. К этому счету в результате он сам присоединился: сам стал считать. Ну, какое же к нему могло быть уважение? Кроме того, он еще попался на такой глупой истории. Как-то пришли директор, инспектор и попечитель Флёров на его урок. А накануне он был на балу в женской гимназии Травниковой и ухаживал за девицами. А наши кое-кто были и видели.

И вдруг он начинает урок своим знаменитым «Господа! У вас на такой-то странице...», а из книги-то выпадает роза и рассыпается. Мы все хором, значит, его... И в результате кончилось дело так, что мы его просто не пропустили, запустили в него чернильницей и выгнали. Это у нас бывало.

В. Д.: Однако! Да, значит, правильно Ильинский пишет, что гимназия у вас хулиганская была.

А. Р.: Так нет, это что ж, это надо было делать. Правда, хрен редьки не слаще. Какой-то еще Карпинский был потом, который, вообще говоря, знал только то, что про всех говорил: «Он был гуманный и либеральный». Это говорилось про Петра I, и про Павла I, и про Александра I, и про Николая I, и про всех вторых и третьих. Все они были гуманные и либеральные. Одним словом, из истории ни черта не вышло. Это, конечно, очень обидно, но это восполнялось на занятиях литературой, к чему я сейчас перейду.

В. Д.: Да. Об Ильинском скажите ваши...

А. Р.: Да. Ильинский Игорь вообще был неизвестен до одного действительно хулиганского эпизода, о котором он в своих мемуарах намекает, но не раскрывает в чем дело. Но ясно, что он это помнит. Как-то в разговоре с Николаем Михайловичем Любимовым, переводчиком известным, я упомянул этот эпизод, а Любимов дружит с Ильинским. Он потом передал Ильинскому, тот с хохотом вспоминал этот эпизод: «Да, так было!»

В. Д.: А что за эпизод?

А. Р.: А что за эпизод, я не скажу.

В. Д.: Ну, вот видите!

А. Р.: Нет, нет, нет, нет. Мне Игорь Владимирович задаст при случае. Мы с ним встречались и помимо гимназии, это уже в связи с театральными делами.

В. Д.: А он, значит, кончал вместе с вами?

А. Р.: Он моложе был, на два класса меня был моложе. Так вот, бог с ними, с этими монстрами. Среди хороших преподавателей у нас, например, были прекрасные географы: Павел Николаевич Пашин и Александр Сергеевич Барков. Он же был директор.

В. Д.: Это тот самый Барков, который учебник гимназии...

А. Р.: Вот, четыре разбойника так называемых. По этому учебнику мы учились, и один из составителей, Барков, был наш преподаватель. В пятом классе я написал Баркову первую свою научную работу: доклад о чукчах. Это было скорее по этнографии, чем по географии. В 30-х годах мне пришлось встречаться с Александром Сергеевичем по работе в «Атласе мира». Я с большой благодарностью вспоминаю его и его уроки.


Стоит вспомнить Петра... Вот ты, запнулся вдруг... Ну, одним словом — Рудик. Вот, забыл вдруг отчество. Это склероз, ничего не поделаешь. Петр Антонович! Петр Антонович Рудик. Такой высокий, рыжеватый, с резким баритоном. Он у нас преподавал в седьмом классе психологию, в восьмом — логику. Он был учеником Челпанова. Преподавал он очень хорошо. И это было очень полезно тем, кто шел по гуманитарным дальше дорожкам. После гимназии он меня пригласил заведовать сельским хозяйством в возглавляемую им колонию 10-й школы МОНО на базе нашей гимназии.

Зоологию у нас преподавал влюбленный в свой предмет и немножко не от мира сего Сергей Иванович Огнёв, известный профессор Московского университета позднее. Мы с ним встречались и в городском педагогическом институте, и в университете уже: ну, он профессор, а я доцент. А любовь к зоологии привил, конечно, он мне.

В восьмом классе у нас был очень странный один предмет с очень интересным преподавателем. Это был Александр Петрович Калитинский, муж артистки Марья Николаевна Германовой. Ходил он всегда в визитке, в брюках в полоску, был рассеян, изящен и любезен. Как назывался этот предмет, мне трудно сказать, потому что мы там получали сведения по антропологии, по теории Дарвина с поправками к ней Клаача до 12-го года, то есть совсем свежие новинки, и различные этнографические сведения о разных народах, древних и новых, и о разных культурах. Читали мы Коран по-латыни даже. Александр Петрович был столь любезен и изящен...

В. Д.: Коран по-латыни?

А. Р.: Да, Коран по-латыни читали.

 **А почему мы могли Коран по-латыни читать довольно свободно? Потому что у нас в третьем, четвертом и в начале пятого класса был замечательный латинист Константин Иванович Горбачевский, чудак, длинноносый хохол с длинными усами.**

Он был энтузиаст. Он водил нас в Музей изобразительных искусств, объяснял вооружение воинов римских, устройство домов и общественных разных зданий того римского времени. А по субботам вечером мы ходили к нему читать Цезаря в четвертом классе, хотя Цезарь полагался в пятом. Даже посылали ему и друг другу письма по-латыни. Вот какой это был энтузиаст, как он умел заражать! В начале пятого класса он, к сожалению, скончался.

Но самым замечательным нашим преподавателем с пятого по восьмой класс (нам посчастливилось) был Владимир Михайлович Фишер. Это был маленький, изящный, неряшливый человек, который знал наизусть всего «Евгения Онегина», цитировал Пушкина с начала и с конца, сам был переводчиком Байрона. Он был автором интереснейшей статьи «Поэтика Лермонтова» в сборнике «Венок Лермонтову» 914-го года. Он рекомендовал нам всякую интересную литературу новую. С его участием проходили наши диспуты о Писареве и Базарове первоначально. Позднее мы делали научные рефераты на его уроках, спорили о символистах и о проблемах стиховедения в связи с новыми тогда работами Андрея Белого.

Фишер, конечно, вдохновил и направил мой путь на филологический факультет. Он был автором только что вышедших двух учебников по истории русской литературы XIX века, очень компактных, удобных и тонких по мысли. В своих уроках русской литературы он давал всегда параллельно и фон западной литературы, так что мы у него узнавали не только о Державине, Пушкине, Лермонтове и так далее, но и о Гёте, Байроне, о Мицкевиче. Хотя по программам полагалось так называемую литературу кончать Тургеневым (это был уже 17-й год), но мы дошли до Чехова.

В. Д.: Неужели и в 17-м году только до Тургенева доходили?

А. Р.: Вот. К сожалению, Фишер в 20-м году переехал в Польшу, и там он погиб в гетто в гитлеровское время во время оккупации. Об этом мне говорили люди, которые его знали по польскому периоду его жизни.

В. Д.: Он еврей был?

А. Р.: Да, конечно, хотя и крещеный. У него было по-моему обручальное кольцо. Когда он поднимал голос и говорил (*подражает фальцетом*): «Тише! Тише!» Но как он рассказывал! Как молодой Гёте на белом коне скакал к возлюбленной! И какие стихи! А он все наизусть читал. Ну, это незабываемые были, конечно, уроки. Это повезло.

В. Д.: Да, вот педагоги оставляют по себе какую-то вот такую... Ненадолго, но все-таки значительную...

А. Р.: Помню, как мы вместе с ним ходили на лекцию Гершензона «Мудрость Пушкина». Еще в той редакции, которая потом не была напечатана, ибо там была грубейшая ошибка... Ему позднее, Гершензону, указанная... Была такая история.

В. Д.: Расскажите этот эпизод. Это очень любопытно.

А. Р.: Да, ну это слишком такой мелкий эпизод. Я Гершензона потом встречал в 20-х годах в ГАХНе.

В. Д.: Кто его поймал-то на этом деле?

А. Р.: Ах, я не помню. Это спросите у литературоведов, это не моя епархия. Вот, наряду с гимназическим обучением...

В. Д.: Простите, а вообще вы Гершензона знали?

А. Р.: Знал так, относительно.

В. Д.: Интересная же фигура.

А. Р.: Да, да. Он очень был любопытный человек. Я его встречал, повторяю, был даже знаком, но так ничего не могу сказать об этом.


Увлечение музыкой и театром

Наряду с гимназическим обучением я много времени отдавал занятиям музыкой и до 917-го года обучался фортепьянному искусству. Первоначально у ученицы Николая Рубинштейна Леонтины Ивановны Клейн-Робер, затем у Елены Александровны Бекман-Щербины и у Давида Соломоновича Шора. Я с Бекман-Щербиной сохранил до ее кончины самые дружеские отношения, встречаясь в концертах и делясь впечатлениями. Я ходил в различные концерты в те годы, слышал Иосифа Гофмана, Рахманинова, Николая Орлова, Александра Боровского и других.

В. Д.: Простите, давайте-ка... Меня интересуют... Ну, Иосиф Гофман, Николай Орлов. Вот кто такой Николай Орлов?

А. Р.: Николай Орлов. Это был известный ученик Игумнова! Первый знаменитый его ученик, который еще в гимназической форме играл концерт Римского-Корсакова в Сокольниках на кругу, а потом стал известнейшим пианистом. И вот у нас были к моменту революции два самых крупных пианиста. Это Боровский и Орлов, потому что старики им уступали в этом отношении, но оба они в результате эмигрировали. Орлов безвозвратно, а Боровский приезжал неоднократно. У него были родные в Москве, и он приезжал сюда и давал концерты в 20-х и даже 30-х годах, насколько память не изменяет.

Во всяком случае, все эти музыкальные впечатления были для меня очень и очень значительны. Я был знаком с симфонической музыкой и с вокальной музыкой, был полон в то время Бахом и Мусоргским. С пятого класса увлечение этими двумя композиторами для меня стало центральным в моем музыкальном мировоззрении. Я этому остаюсь верен и сейчас. Конечно, увлекался Скрябиным, тогда нельзя было им не увлекаться. А в 915-м году я даже сам сочинял прелюдии, романсы, они у меня сохранились.

 Несколько раз собирался писать оперу. У меня есть наброски, отрывочно сохранившиеся. Одна была на сюжет «Выстрела» Пушкина, другая на «Русалочку» Андерсена. Наконец, самое смешное — опера под названием «Царь Мелхиседек» на библейский сюжет. Это меня больше всего увлекало.

В театр я попал сравнительно поздно, потому что родители считали, что я слишком возбудим, и театр может плохо отразиться на моем развитии. Первый раз я в театре был лишь в 912-м году: «Недоросль» и «Проделки Скапена» у Корша. И сразу стал театралом. На первом месте у меня была все-таки опера. Благо, мне довелось слушать и Нежданову, и Собинову, и Шалапина, и много слушать Василия Родионовича Петрова, и даже позднее познакомиться с ним, Степанову и других знаменитых певцов Большого театра.

В. Д.: Это тот Петров, который Варяжского гостя пел?

А. Р.: Вот, тот Петров, который Варяжского гостя пел. Я у него три раза слышал это. Да, это неповторимый был бас. Жалко редко его дают. Мало записей осталось, к сожалению. Вот.

Отец мне в это время выписал журнал «Музыкальный современник» под редакцией сына Римского-Корсакова, Андрея. Он объединял самые передовые музыкальные силы в то время. Я внимательно штудировал этот журнал и проникался многим, почерпнутым оттуда. В частности, на меня большое влияние оказали статьи критика Вячеслава Гавриловича Каратыгина, очень умного и очень тонкого человека. От него я узнал и о Стравинском, и о французских импрессионистах, а главное, о Прокофьеве, который стал позднее одним моим из первых кумиров.

В. Д.: А Кугеля не читали?

А. Р.: Кого-кого?

В. Д.: Кугеля. Кугель, театральный критик был такой.

А. Р.: Кугель? Нет, он же был драматический критик, а не музыкальный.

В. Д.: Нет, но это театральный критик.

А. Р.: Ну, знаю, что театральный, но он по драматическому театру был специалист. Кугель Александр Рафаилович. Как же его не знать. «Ното повус» его псевдоним был.

В. Д.: Да, да, да.

А. Р.: Читал его, с братом его лично был знаком.

В. Д.: Это не мое время, но я просто по литературе знаю.

А. Р.: Надо сказать, что в области драматического театра, конечно, на первом месте стоял Художественный театр, где многие постановки в то время шли еще почти что в первом составе: Станиславский, Качалов, Москвин, Лужский, Грибунин, Книппер, Лилина, Артём. Всех их я видел и всех запомнил. Самые лучшие постановки чеховских пьес, «У жизни в лапах» Гамсуна, тургеневских вещей я просмотрел в Художественном театре.

произведений пародируемых сцен, то называлось на афише: «Музыка Витвера при благосклонном участии Гуно, Верди, Мейербера, Леонкавалло, Чайковского и Максима Горького». Последнее может удивить — почему? Потому что там был один хор: король со Шприцем Наваррским сражаются на мечах. Шприц его ранит, тот падает и поет: «Я жив еще, за смерть мою отмстите!» И после этого хор запевал: «Солнце наше закатилось, умер бедный наш король» — на мотив «Солнце всходит и заходит» из «На дне» Максима Горького. Поэтому Максим Горький тут участвовал. Вот так шла моя гимназическая жизнь. Теперь я приступаю уже к новому этапу.

Работа грузчиком

В 18-м году я кончил последнюю восьмиклассную гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. А одновременно я служил грузчиком на книжном складе «Коммунист» при...

В. Д.: Вот как это случилось?

А. Р.: А как случилось? Очень просто: есть надо было, а эта профессия давала первую категорию, которую даже дворники не имели. Они вторую имели, а я имел первую категорию. Был я человек сильный, выносливый, привычный и...

В. Д.: Как привычный? Интеллигентский мальчик. А где ж вы привыкли-то?

А. Р.: А где? А в деревне-то я всегда жил у дедушки. Там я все виды труда прошел: и пахал, и косил, и с лошадьми крутился, и мешки таскал, и все что угодно делал. Так что это было мне неудивительно, а тут это пригодились.

В. Д.: Грузчиком на книжном складе?

А. Р.: Да, грузчиком на книжном складе. Там у нас возглавлял это дело Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич.

В. Д.: Я его очень хорошо знаю.

А. Р.: Ну еще бы! Конечно, вы его должны хорошо знать.

В. Д.: Нет. В то время... Это, значит, какой год?

А. Р.: Это 18-й, осень 18-го года.

В. Д.: И было такое издательство «Коммунист»?

А. Р.: Это не издательство. Это был книжный склад на базе бывшего издательства «Жизнь и знание», которое принадлежало Бонч-Бруевичу.

В. Д.: Ага.

А. Р.: А тут был книжный склад на Сретенке, первый переулок направо от Сретенских ворот. Там были очень забавные встречи. Помню, как просил Бонч-Бруевич как-то перевезти ящики с его перепиской с духоборами. И когда мы перевезли и поставили, то один ящик разбился и рассыпался. И мы лежали с Бонч-Бруевичем на полу, разбирая эти пачки, и он рассказывал про духоборов. Конечно, это была не очень удобная поза, но тем не менее он был страшно, горячо взволнован и говорил: «Поглядите, а вот очень интересно. А вот Лев Толстой об этом как раз писал. А вот вы знаете, что тут вот... Вот-вот-вот...» И так далее.

В. Д.: У вас его интонация.

А. Р.: Вот мы так с ним и крутились.

В. Д.: Значит, вы были его подсобным рабочим, да?

А. Р.: Я был одним из рабочих на этом книжном складе.

В. Д.: А гимназию вы кончили?

А. Р.: Я кончил в 18-м году, весной. Последнюю восьмиклассную гимназию. Причем меня сразу вовлекли в общественную деятельность: не более и не менее как избрали в местком. А тогда только что это дело налаживалось. Все было неизвестно. И меня, восемнадцатилетнего мальчишку, избрали председателем месткома. Конечно, это было мне трудновато, что и говорить, но такова была воля масс, как говорилось.



Александр Реформатский и Николай Тимофеев-Ресовский в день окончания гимназии. 12 апреля 1918

В. Д.: И льстило самолюбию тогда, да?

А. Р.: Да не то что льстило самолюбию, а у меня была привычка: если надо — так надо. Вот и все. Ну, мы тогда заботились о некоторых хозяйственных нуждах, о юридических правах, об отпусках служащих и так далее, и так далее. Одним словом, делали что могли. Ездили мы с одним приятелем, который тоже работал грузчиком, с салазками в Кремль. Там в Чудовом монастыре (тогда еще он был цел) были склады. Оттуда получали конину и везли ее на Сретенку на салазках. Потом ее распределяли. Был один очень комический эпизод с лифтером Серёнькой там. Серёнька очень меня любил. Почему — я даже не знаю. И вот как-то раз Серёнька говорит: «Приходи ко мне в воскресенье, я тебя хочу угостить». Ну, я председатель месткома, он просит — надо прийти.



Я пришел, говорю: «Чем это ты меня хочешь угостить?» «А я, — говорит, — на крючок поймал крысу и зажарил ее на машинном масле. Попробуй». Пришлось попробовать! Это было такое единение выборных и массы.

В. Д. (смеется): Это мне не довелось. Я ел, знаете, всякое, в том числе и тигра...

А. Р.: А мне тигра не доводилось, извините. Где же это вам тигра довелось?

В. Д.: У меня был кузен в зоопарке. Там задрали этого тигра...

А. Р.: А-а-а, так это тутошний тигр?

В. Д.: Тутошний. Из зоопарка. И одного пришлось пристрелить, ну и сотрудники съели. Это уже в 30-х годах было.

А. Р.: Вот видите.

В этой моей службе грузчиком еще одно удобство было, что я в университет (а занятия были вечерние) приезжал на машине. Меня приятель-шофер Савелий Игнатич на той же полторке, на которой я день ездил, грузил там бумагу и книги, привозил прямо к университету, ибо машина стояла в Манеже. Там был гараж. Я приходил прямо с машины в аудиторию. Нужно сказать, что в этот первый заход, как я его называю, в университет дело у меня не очень там наладилось. Я слушал как-то беспорядочно. То историка Михаила Михайловича Богословского...

В. Д.: Как он читал, вот расскажите.

А. Р.: Богословский? Очень методично, немножко скучновато. Был он седой, но как-то это не вдохновляло. Читал Сергей Константинович Шамбинаго, человек, с которым я потом очень много встречался и работал вместе. Сергей Константинович читал там несколько каких-то курсов. Я какие-то два курса слушал по фольклору и еще что-то такое. Других не помню.

В. Д.: А Богословский древнюю русскую историю только читал или весь курс до конца?

А. Р.: Нет, он читал русскую историю, по-моему. Его конек было петровское время. По-моему, этот как раз кусок я и слушал у него. Ну, а так как у меня была некоторая оскомина от истории по гимназическим монстрам, то тут меня это как-то не ухватило. А Сергей Константинович меня заинтересовал. Но опять же до конца как-то не вышло настоящего. Конечно, все это вместе было довольно утомительно: и работа физическая, и вечером университет. Так что дома-то почти не бывал.

В. Д.: А с кем вы жили тогда? С родителями еще?

А. Р.: Где, в Москве-то?

В. Д.: Вот когда вы грузчиком были?

А. Р.: У отца. С отцом, матерью. Это мы жили уже вот на нынешней Композиторской, бывшем Дурновском переулке. Я до 50-х годов досуществовал там.

Работа в рентгеновском кабинете у Лазарева

Служить после этой работы грузчиком приходилось в самых разных амплау. Одно лето я был заведующим сельским хозяйством 10-й школы МОНО в Жаворонках. Это именье Назарьевых, бывшее князей Михалковых, дядюшки Сергея Владимировича Михалкова, известного поэта. У меня есть фотографии, чудесный дом был. Масса приятных воспоминаний об этом было. Потом я служил у Петра Петровича Лазарева.

В. Д.: У физика?

А. Р.: Да, в рентгеновском кабинете Наркомздрава, то есть рентгеновская секция Наркомздрава это называлось. Она помещалась там же, где его все институты, на Миуссах.

В. Д.: В недостроенном здании тогда?

А. Р.: Нет, одно-то здание было вполне достроенное, другие строили, и я в том числе что-то строил. А потом прилачился к рентгеновскому кабинету, прошел курсы рентгентехников у Галанина Дмитрия Дмитриевича, у других лиц. Я уже забыл, кто там еще был. Ну, одним словом, я снимал больных. До 22-го года я там пробыл, снимая больных, и наострил в этом деле.

В. Д.: Вы снимали сами?

А. Р.: Да, да, да, снимал больных. Вот мои приятели, в клинике мы работали... Так мы такой компанией дружной... Это был очень замечательный человек — Анатолий Леонидович Средин, сын того Средина, ялтинского врача, у которого бывал Чехов. Отец моего друга был приятелем Ермоловой, с другими артистами, с Чеховым, с Горьким дружил. Он по мемуарам очень известен.

Другая — семья Ярцевых была, художника. Собственно говоря, я видел в Ялте, как это происходит. Там на одной из улиц дом. Называется «Дом Ярцева», в котором один этаж занимала квартира Средина. Вот там все и происходило. Так вот с их сыном мы служили. Он был меня старше, маленький, очаровательный, остроумный, музыкальный. Он был заведующий проявительным всем делом и фотографическим, а я, значит, снимал.

В. Д.: Александр Александрович! А Петра Петровича Лазарева вы помните хорошо?

А. Р.: Хорошо помню, прекрасно помню.

В. Д.: Вы и о нем немножко...

А. Р.: А что о нем сказать? Петр Петрович Лазарев был, конечно, очень крупная величина в физике. В общезнании он был какой-то непонятный мужчина. Он был рыжий. Любил очень врать и хвастать. Вот был один эпизод. Как-то приехал Анатолий Васильевич Луначарский к нам посмотреть, что и как. Пришел в проявительную.

И ему Лазарев показывает снимок, говорит: «Вот глядите, какая интересная вещь. Красноармейца снимали, такая толщина черепа, что рентген не может пронять. Вот видите, поэтому так трудно разглядеть».

Луначарский посмотрел и говорит: «Петр Петрович, да ведь таких в армию не берут, с таким черепом» (*смеются*). Это вот образец такой хлестаковщины, которая была в Лазареве. На самом деле просто у нас был неудачный снимок, и больше ничего. Мы его хотели отсунуть, а Лазарев его всунул и показывает Луначарскому. Ну, вот так это было нескладно все.

В. Д.: Ну, а вообще как организатор?

А. Р.: Ну, знаете, организатор он был блестящий. Там помещалась Комиссия естественных производительных сил. И первая вот эта школа... Как это называлось, такая фоторазведка с самолетов, которая делалась... Забыл, как называется. Это там было, и институты были. Там работал тогда молодой Вавилов, будущий наш президент Академии, Сергей Иванович, и ряд других талантливых физиков. Ну, так или иначе я там служил. Это меня устраивало в целом ряде отношений.

Курсы при Театре РСФСР 1-й

А параллельно меня все время тянуло в театр. И вот, во-первых, мы компанией устраивали всякие там любительские взаимобучения, что ли, то есть студию, тогда было модно, организовывали. Назвали мы ее любимым словечком Сатина из «На дне» — студия «Сикамбр». И разыгрывали там разные отрывки из пьес Островского, Гоголя, репетировали «Дядю Ваню» Чехова и очень многое другое. А в начале 20-го года я тайком от домашних пошел на пробу в организованные тогда при Театре РСФСР 1-й драматические курсы и был туда принят.

В. Д.: К Мейерхольду? РСФСР 1-й — это Мейерхольд?

А. Р.: Мейерхольд, да-да-да, но самого Мейерхольда в это время не было же в Москве. Он же был на юге.

В. Д.: Да.

А. Р.: Это было начало 20-го года. Я в это время очень увлекался изданиями ОПОЯЗа, работами Эйхенбаума, Брика, Шкловского и так далее. А там я их встретил, кроме Эйхенбаума, всех живьем. Среди наших преподавателей было много интересных людей. Был Осип Максимович Брик. Был Роман Осипович Якобсон — первый его дебют как преподавателя. Был там Александр Георгиевич Габричевский, историю античного театра читал. Очень талантливая женщина Нина Георгиевна Александрова, жена композитора. Она преподавала пластику, изумительно образно. Был там Марк Давидович Эйхенгольц. Там был Валерий Михайлович Бебутов, Аркадий Павлович Зонов. Очень много людей таких известных.

В. Д.: А что преподавал Брик?

А. Р.: Брик поэтику читал.

В. Д.: Был такой курс у него?

А. Р.: Да, такой у нас был курс — «поэтика».

В. Д.: Ну и что, интересно было?

А. Р.: Конечно, интересно!

В. Д.: Ведь он ничего не оставил законченного.

А. Р.: Ну да! «Звуковые повторы»...

В. Д.: И только.

А. Р.: Прелестная вещь. И потом его «Ритмико-синтаксические фигуры» — тоже вещь интересная, хотя и незаконченная. Но он ведь такой был. Понимаете ли, он бродил, бродильное такое вещество. Он любил организовать, устроить, натравить кого-то, благословить и так далее. Нашим групповодом в этой школе был известный режиссер Николай Михайлович Фореггер.

В. Д.: Студия Фореггера.

А. Р.: Это человек был чрезвычайно острый, очень образованный и очень наблюдательный. И вот я никогда не забуду, как он целый панегирик произносил мне в честь человеческой спины по личным впечатлениям от спины Веры Чеберяк, которая была лжесвидетельницей на деле Бейлиса в 911-м году в Киеве.

В. Д.: Лжесвидетельницей?

А. Р.: Лжесвидетельницей. Ее разоблачили тогда.

В. Д.: Так чем же ее спина была замечательна?

А. Р.: А вот именно так: она говорит заученным голосом совершенно твердо, а спина выдает, что врет, врет, врет, врет.

В. Д.: Мне б такую науку пройти.

А. Р.: Вот! Вот Фореггер меня очень... Говорил: «Обратите внимание — спина выразительная». Когда я позднее смотрел фильмы раннего Чаплина, где действительно спина замечательно играет, я вспомнил эти слова Фореггера.

В. Д.: Интересно.

А. Р.: Это действительно так. Фореггер, помню, как-то заболел. Я к нему ходил, он жил на углу Скарятинского переулка и Малой Никитской в маленьком одноэтажном доме. Я не знаю, что сейчас там помещается. У него дощечка была на двери, на которой было написано «Николай Михайлович Фореггер фон Грейфентурн». Вот. А он сидел больной, был очень рад, что я к нему пришел и показывал мне какие-то замечательные гравюры и прочие вещи, эстампы, связанные со средневековыми парадами. Он был очень большой знаток всего церемониала средневековых парадов, всех кружазд, всяких прочих там маршей и так далее, и так далее. Вообще было с ним очень интересно.

В. Д.: Ведь потом впоследствии был театр у него, да?

А. Р.: Да, потом он открыл-таки свой театр маленький.

В. Д.: А вы этот театр не знаете?

А. Р.: Нет, это я уже не знаю, я тогда с этим расстался. Стало быть, занимаясь на курсах с Фореггером импровизациями, разыгрывали иногда разные данные им сценарии. И ставил я, например, под его руководством водевилиста Ленского, автора «Льва Гурыча», «Беда от нежного сердца», где играл главную роль. Вот.

В. Д.: Водевиль кого?

А. Р.: Ленского.

В. Д.: Ах, Ленский!

А. Р.: Дмитрия Тимофеевича, знаменитого водевилиста, «Лев Гурыч Синичкин».

В. Д.: Он и актер был, кроме того?

А. Р.: Да, он был и актер, но главным образом прославился как водевилист.

Осип Максимович Брик вел, как я и говорил, поэтику. Иногда приглашал Шкловского в подсобу себе. Якобсон читал курс русского языка. Он был рыжий и заикался. И вот смешно, что эти люди, которых я в 920-м году впервые увидел и, так сказать, познакомился, — Виктор Шкловский и Роман Якобсон — стали позднее моими близкими друзьями. Вот как пути сходятся.

Мы выступали перед очень изысканной публикой иногда. Ну, например, я помню один из очень показательных вечеров, где присутствовали не только Бебутов, Зонов, Павел Александрович Марков, с которыми я позднее в университете вместе встречался. Приезжал Анатолий Васильевич Луначарский. Уж не помню еще кто, но публика была очень изысканная. К 1 мая Фореггер поставил старинную русскую интермедию «Как мужик Гаврила, в пузо ему вила, двух панов обхитрил, сам ученым прослыл». Что было тогда очень в масть, потому что шла война с панской Польшей. И это был политический памфлет на базе вот такой интермедии XVII века, которую откуда-то Фореггер выкопал. Я играл там смешного пана Самохвальце, который выходил вприсядку и говорил почти фальцетом. Помню, когда мы как-то позднее встретились с Павлом Александровичем Марковым, вспоминали эту студию, эти курсы, то он говорит: «О! Я там был. Помню одно представление про двух панов. Вы помните?» Я говорю: «Как же не помнить?» — «Так вот, там один пан вприсядку здорово плясал». Я говорю: «Так этот пан-то был я». — «Как вы?» Павел Александрович очень удивился.

В. Д.: Павел Александрович Марков?

А. Р.: Да. Ну вот.

В. Д.: Вот я не совсем уловил соотношения по времени. Срок какой? Вы гимназист, потом эти самые тюки таскаете, грузчик.

А. Р.: Да.

В. Д.: В это время вы в университете учитесь? А как в театр вы еще поспеваете?

А. Р.: Так это в театр я в 20-м году. Тут я прервал университет, потому что у меня в первый-то заход как-то не поладилось.

В. Д.: Ах, вы бросили?

А. Р.: Да.

В. Д.: Так вот вы 19-й, 20-й...

А. Р.: И вот так до весны 20-го года я не возвращался в университет.

В. Д.: И вот вы деятельность грузчика совмещали с...

А. Р.: Так нет, уж я грузчиком в это время не был.

В. Д.: А чем вы были?

А. Р.: А я был у Лазарева. Рентгенотехником работал.

В. Д.: Рентгенотехником, и у вас было свободное время...



Александр Реформатский. 1920

Второй заход в университет

А. Р.: И вечера какие-то свободные, в которые я посещал эти самые курсы. Вот. Так что у меня воспоминания об этих курсах самые приятные остались. Но все-таки меня перетянул университет. И с осени 20-го года я опять вернулся к университетским делам. В этот второй заход, как я называю, в университет я стал как-то более толково разбираться, у кого чем заниматься.

Надо сказать, что я пришел в этот раз в университет с увлечением поэтикой, которое у меня началось еще с Владимира Михайловича Фишера и его статьи о поэтике Лермонтова и продолжалось через лекции Брика, Шкловского и других. А также чтение той литературы опоязовской и около нее, которую мне приходилось в это время читать.

Я на первом же году своего возвратного прихода в университет делал доклад в семинарии Николая Леонтьевича Бродского. По Чехову был семинарий. Мой доклад был «Эстетические воззрения Чехова по письмам». Слушал я в это время лекции Сакулина, Михаила Николаевича Петерсона. Прошел я и знаменитый ушаковский просеминарий. Это было лучшее введение в языковедение. Как было непринужденно, интересно и весело, и вместе с тем сколько было нужного и точного в занятиях с Дмитрием Николаевичем Ушаковым. Здесь была вся палитра лингвистической проблематики. Тут были и ложные этимологии, тут были и вопросы буквы и звука, тут были и вопросы интонации, и фонетики, и орфоэпии. Одним словом, весь тот комплекс, которым потом нас богато оделял дорогой мой учитель Дмитрий Николаевич Ушаков.

Вот в это время функционировал так называемый сакулинский кружок. В своем роде это было очень интересное университетское начинание. Там мы делали доклады, там мы учились оппонировать, вести спор научный и даже председательствовать учились. Одним словом, все по форме. И в этом смысле надо добром помянуть этот кружок. Правда, программа была чрезвычайно какая-то пестрая и непонятная. Сегодня научный доклад, завтра вечер ничевоков и презентистов, в следующий раз паясничают по поводу имажинистов Львов-Рогачевский и так далее.

В. Д.: А к Львову-Рогачевскому вы относитесь отрицательно?

А. Р.: Конечно! А как же к нему относиться? Этот человек болтал языком всякую чепуху и икал при этом. Нет, не положительная фигура. В этом кружке я сделал доклад о композиции романа Достоевского «Игрок». Это было дважды мне внушено. С одной стороны, самим романом, который я очень полюбил и люблю до сих пор. А с другой стороны, я узнал, что Прокофьев написал оперу на эту тему.

Неутомимый Осип Максимович Брик организовал московское отделение ОПОЯЗа, который, конечно, меня сейчас же привлек. Это было очень интересно. Мы главным образом занимались анализом разных новелл, начиная с пушкинских «Повестей Белкина». А в университете свое было направление. Я познакомился с Михаилом Александровичем Петровским, который вел семинарий по новелле Мопассана как раз. В этом семинарии участвовали люди, которые потом были довольно известны. Это были Лев Николаевич Галицкий, Дмитрий Евгеньевич Михальчи, Лазарь Борисович Перльмуттер.

В. Д.: Что с ним случилось потом?

А. Р.: А? Он погиб во время войны во власовском окружении. Александр Лазаревич Альберт, Надежда Васильевна Вахмистрова и еще там кое-кто. Занимались мы очень уютно. Была маленькая квартирка, которую снимал университет в Шереметьевском переулке, во дворе. Мебель красная была, красная плюшевая, сидели мы там уютно, курили. Михаил Александрович и угощал, и сам курил. Была доска и грифель, что необычно для филологических аудиторий университета,

а мы без этого не могли, потому что мы делали схемы и формулы писали и так далее.

В. Д.: Михаил Александрович потом читал курс такой программный — «Теоретическая поэтика». Простите...

А. Р.: Да, этого курса я у него не слышал.

В. Д.: Я его слышал, у меня даже записи его есть.

А. Р.: Ну, надо сказать, лектор он был не из богатых.

В. Д.: Мычал.

А. Р.: Он мычал. Он скучновато читал. Он гораздо лучше писал. Писал он прекрасно. Доклады он делал тоже очень интересные. Я слушал его доклады о «Выстреле» Пушкина, о композиции одной вещи Достоевского («Вечный муж») и еще кое о чем. И по совету Брика и Петровского Михаила Александровича я взялся за анализ новеллы «Петух пропел» («Un coq chanta») Мопассана, сделал доклад на семинарии у Михаила Александровича и повторил его в ОПОЯЗе. Доклад на сакулинском семинаре по методологии изучения литературы послужил мне в виде некоторого теоретического введения. И вот получилась книжечка, которую под маркой ОПОЯЗа удалось издать на средства Осипа Максимовича Брика опять же. Это была моя первая печатная работа 1922 года. Осип Максимович Брик привлек меня также и в ЛЕФ, где была напечатана моя рецензия на работу Виктора Владимировича Виноградова о «Двойнике» Достоевского.

В. Д.: Вот отсюда я узнал вашу фамилию.

А. Р.: Вот, наверное, через ЛЕФ. В это время в университете я сблизился с некоторыми старшими товарищами по годам, но не по курсам. Тогда нас вообще по курсам как-то не делили. Это были Александр Ильич Ромм, покойный, Максим Максимович Кёнигсберг, покойный, и Григорий Осипович Винокур, тоже покойный. Все эти три человека были очень интересны по-своему. Они меня вовлекли в основанный еще в 1915 году Московский лингвистический кружок (МЛК) — зачаток будущего Пражского лингвистического кружка. Оба раза — и в Москве и в Праге — инициатором был Роман Осипович Якобсон.

В. Д.: Да.

А. Р.: В это время появилась его интереснейшая книжечка «Новейшая русская поэзия. Хлебников», с которой меня познакомил все тот же Осип Максимович Брик.

В это время была в университете так называемая предметная система, а не курсовая. То есть можно было слушать какие угодно лекции и сдавать определенное количество экзаменов к определенному сроку. Причем тут бывали и курьезы. Сдаешь-сдаешь, потом приходишь к секретарю факультета, а он говорит: «А это отменили», — и начинается торговля, как бы вот три сданных излишних предмета зачет за один еще не сданный, но невычеркнутый. Так или иначе эти дела улаживались.

А секретарем факультета был Иван Григорьевич Голанов, ученик Дмитрия Николаевича Ушакова, очень милый. Он преподавал и помогал Дмитрию Николаевичу в университетском преподавании. Мы главным образом ходили только на те лекции, которые интересны. И даже бывало так, как у меня было с Ушаковым: я сперва ему сдал, а потом слушал этот курс по морфологии русского языка. И это было очень хорошо и полезно.

А успевали мы зато побывать везде, потому что было очень много всего интересного. Доклады были и в Обществе любителей российской словесности, в круглом зале университета на Моховой, а иногда в аудитории Психологического института.

В. Д.: Да.

А. Р.: И в Обществе преподавателей в Хлебном переулке.

В. Д.: Вы не были, когда в аудитории Психологического института под председательством Сакулина, по-моему, доклад делал Вересаев о «Памятнике» Пушкина?

А. Р.: Кто-кто?

В. Д.: Вересаев Викентий Викентьевич.

А. Р.: Нет, этого я не помню.

В. Д.: А доклад был о «Памятнике» Пушкина. А потом, значит, Сакулин сам, даже с несвойственной ему темпераментностью (он все-таки был такой благостный обычно человек) его опровергал.

А. Р.: Да.

В. Д.: Мысль Вересаева заключалась в том, что последняя строфа «Памятника» пародийна, что «...чувства добрые я лирой пробуждал»...

А. Р.: Да, может быть, я этого не слышал доклада. Я слышал другой доклад там, именно в той же аудитории Политехнического института...

В. Д.: Психологического.

А. Р.: Доклад Леонида Петровича Гроссмана «Искусство романа у Достоевского». Это был великолепный доклад, который на меня произвел большое впечатление.

Розалия Шор

Ходили мы, конечно, и в ОПОЯЗ свой, и в лингвистический кружок. И было такое Лингвистическое общество в Доме ученых, которое еще организовал когда-то Поржезинский Виктор Карлович. В Обществе любителей я познакомился с Николаем Каллиниковичем Гудзием и Леонидом Петровичем Гроссманом, а в лингвистическом кружке — с рядом лиц, с которыми потом был так или иначе связан. Это были Алексей Александрович Буслаев, Николай Феофанович Яковлев, Лев Иванович Жирков, Розалия Осиповна Шор, Владимир Ильич Нейштадт и многие другие.

В. Д.: Александр Александрович!

А. Р.: Да!

В. Д.: У вас такой большой перечень, что я не знаю, на ком вас остановить. Ну, во-первых, скажите о Гудзии, если что вы имеете сказать. И о Гроссмане, и о Шор, очень своеобразная...

А. Р.: Пожалуйста, можно кое-что припомнить.

В. Д.: Припомните.

А. Р.: Видите ли, со всеми этими людьми я до их смерти был связан, но по-разному, в разных ситуациях. Что касается Розалии Осиповны Шор, то мне пришлось не только с ней встречаться в этих всех кружках и обществах, но когда (это я забегаю вперед) я стал аспирантом, я у нее проходил курс лингвистических учений в семинарии, где делал доклады. А потом мы с ней встречались в самых разных ситуациях и даже спорили и ругались. Была женщина исключительной эрудированности и исключительной беспринципности.

В. Д.: Беспринципности?

А. Р.: Да.

В. Д.: Вот интересно.

А. Р.: Потому что она...

В. Д.: Она где-то была между марристами и...

А. Р.: Да, так она между всеми была, в том-то все и дело. Потому что она в свое время была между традиционалистами и между новаторами в поэтике. Потом она в лингвистике оказалась между Марром и старым добрым языковедением XIX века. Перекидывалась. И это все нам не нравилось, но женщина она, по существу, была неплохая, а главное, полезная. И вот как-то помню, на одном из заседаний она мне говорит: «То, что я писала сама, — это все ерунда. А вот за то, что я организовала переводы классиков европейского языковедения: Соссюра, Сепира, Вандриеса, — и они были опубликованы, вот за это мне извольте поставить памятник». Я ей сказал: «Вполне подписываюсь под вашими словами, Розалия Осиповна». Да, всякие были дела.

Помню, когда как-то приезжал знаменитый французский лингвист Марсель Коэн, мы были на одной его лекции в ВОКСе², то в результате дальнейшего разговора Марсель Коэн спрашивает меня: «Кто ваши враги? Qui sont vos ennemis?» А я говорю: «Voilà Madame Shog». Она страшно на меня взъелась и стала на очень плохом французском языке что-то объяснять Коэну, потом быстро перешла на немецкий, тем она владела лучше. «Зачем же вы так говорили?» — потом она мне говорит. А я: «А что ж? А мы с вами достаточно спорили, чтоб нам понять, что вы нам не союзник, а если не союзник, значит, враг. Вот и все».

В. Д.: О! Рапповщина!

А. Р.: Да, да, да. «И других тут не может быть». Рано она умерла, к сожалению. В 39-м году. Я помню ее похороны.

² Всесоюзное общество культурных связей с заграницей

О лингвистах

Теперь, что касается Леонида Петровича Гроссмана, то вот я вернусь к нему тут по поводу одного эпизода.

В. Д.: Ну, хорошо, хорошо.

А. Р.: В связи с окончанием и тогда уж лучше о нем скажу.

Николай Каллиникович, конечно, был очень милым для меня человеком, но по своей тематике он был мне далек как специалист по древнерусской литературе, по фольклору, чем я не занимался. Однако мы с ним постоянно встречались в тех или иных ситуациях вплоть до последней встречи, которая была у Корнея Ивановича Чуковского на даче, незадолго уже до смерти Николая Каллиниковича, где мы всякие вопросы выясняли, разбирая разные книжки в библиотеке Чуковского. Вот. Ну, самые теплые у меня воспоминания о Николае Каллиниковиче остались. С Леонидом Петровичем у меня были более тесные...

В. Д.: Значит, вы считаете его значительным ученым?

А. Р.: Кого? Гудзия?

В. Д.: Николая Каллиниковича Гудзия.

А. Р.: Безусловно, потому что он ведь все-таки был... Таковую линию своего учителя академика Перетца проводил несмотря на все противодействие, которое он встречал. И умел как-то добиваться от своих учеников того, чего надо. Вот один из его любимых учеников, мой сосед и наш приятель молодой, — это Владимир Яковлевич Лакшин.

В. Д.: А, Володя! Он ваш сосед, он тут живет?

А. Р.: Да, он тут, в этих домах живет. Вот он свято чтит память Николая Каллиниковича. Недавно мне подарил книжку, изданную в память Гудзия, что мне было очень приятно.

В. Д.: Я его по университету тоже помню как студента... Впоследствии — новомирец.

Потом вы упомянули... Нет, Винокура вы тут не упоминали.

А. Р.: Ну, Яковлев, Жирков — это другая линия, которая пойдет позднее в связи с ЦК нового алфавита³ и проблемами латинизации и так далее. Так что мы сейчас не будем трогать.

В. Д.: Здесь вы перечислили... Значит, Шор, Гудзий и, кажется, Винокур.

А. Р.: Нет, Винокур раньше был. С Винокуром мы до самой смерти были очень близкие друзья, и я его не раз буду поминать еще.

³ Всесоюзный центральный комитет нового алфавита (ВЦКНА)

У Бриков в Водопьяном переулке

Теперь. У Бриков в Водопьяном переулке я бывал в это время очень часто и в связи с изданием моей книжки, и просто по делам нашего ОПОРЯЗа, и так. И там встречался с разными людьми, в том числе я встречал там Николая Николаевича Асеева и его жену Ксану, которая пела мексиканские песни, как их называл Брик «явки». «Явки» — это я помню. И встречал там Маяковского, конечно. Маяковский при мне обычно играл в карты. И до чего азартно играл! Прямо сказать вам не могу.

Раз как-то пришлось вот мне помогать Маяковскому читать корректуры перед его отъездом за границу. Это были сборники стихов. Каких — я сейчас не помню.

” Но меня сразу поразило, когда я читал корректуру, то, что у него нет ни запятых, ни точек, ничего такого. Я спросил: «В чем же дело, Владимир Владимирович?» А он говорит: «А вы знаете, моя пунктуация — это вот то, что называют „лесенки“, а остальное — дело редактора и корректора. Как надо, пускай они ставят».

Я запомнил это выражение. Расставлял ему, где надо, точки, точки с запятой и запятые. А позднее в одной работе уже 60-х годов этот наш разговор я опубликовал. Он существует в сборнике Института славяноведения. Потому что, как мне кажется, тут есть интерес и некоторый теоретический, начало которому положил Роман Якобсон, который когда-то писал о стихе Маяковского и синтагмах. Это была одна из его идей, и как раз это пересекается с нашим разговором с Владимиром Владимировичем.

В. Д.: То есть он полностью... Его не интересовали чисто грамматические связи, которые отмечаются, а вот, так сказать, речевое... Вот именно синтагма, его лесенка — это было основное.

А. Р.: Он был за выделение таких, грубо говоря, синтагм, которые он вот так расставлял. И этого он очень добивался, пунктуально. Если там была путаница, он сейчас же переделывал.

В. Д.: Это очень важно. Это очень важно, между прочим, для тцетцов, которые совершенно с этим не считаются.

А. Р.: А это напрасно. Он-то сам с этим считался.

В. Д.: Безобразно. Так как мне много приходилось вести кружков по чтению, я как раз вот этого тоже добивался просто интуитивно. Я не знал, конечно, этого разговора.

А. Р.: К сожалению, да, вся эта культура не очень на большой высоте.

В. Д.: Очень...

А. Р.: Теперь я еще хочу из моих университетских учителей...

В. Д.: Да, простите еще, раз уж мы остановились в Водопьяном. Вы, вероятно, к этому уже не вернетесь?

А. Р.: Нет.

В. Д.: То вот мне хотелось еще раз вас спросить про Водопьяный. А с Лилей Юрьевной вы встречались?

А. Р.: Там? Нет.

В. Д.: В Водопьяном?

А. Р.: В Водопьяном никогда не встречался.

В. Д.: Как с хозяйкой дома?

А. Р.: Нет, не встречался.

В. Д.: Странно! А где же?

А. Р.: Ну, это позднее, в других ситуациях. А в то время в Водопьяном переулке я никогда Лилию Юрьевну не видал.

В. Д.: А как Владимир Владимирович держался с Осипом Максимовичем?

А. Р.: Они как-то дружелюбно всегда держались друг с другом, но без амигошества, без особых антимоний. Брик был небольшой сравнительно, Маяковский, конечно, очень высокий, так что они контрастировали даже несколько.

В. Д.: Ах, так даже было, да?

А. Р.: А у Бриков была замечательная белка Янкель.

В. Д.: О! Расскажите.

А. Р.: Которая у него сидела где-то внутри, и вот когда с ним разговаривали, — вдруг из рукава белка вылезает. Он говорит: «Янкель, ты куда? Ты нам мешать пришел». Это было очень смешно.

В. Д.: А колеса не было?

А. Р.: Нет, этого я не помню. А вот как она у него вылезала из рукава, это я помню.

В. Д.: У Брика?

А. Р.: У Брика, да. Он где-то ее держал тут, внутри.

В. Д.: Вот очень интересно, потому что есть в «Про это», которое начинается:

«В этой теме, и личной, и мелкой...

Я кружил поэтической белкой

И хочу кружиться опять».

И надо сказать, что у него большей частью ведь метафорические...

А. Р.: Ну, это возможно. По-моему, никакого там колеса не было, так что Янкель этот мог, так сказать, ему немножко...

В. Д.: Сыграть.

А. Р.: Внушить образ, а уж там кружить...

В. Д.: А вы помните, тогда было в ходу еще такое поэтическое колесо. А кого еще в Водопьяном?..

А. Р.: Нет, не помню больше. Ну, кто там? Кушнера, по-моему, видал.

В. Д.: Вы там бывали часто?

А. Р.: Ну, тогда в 21-м, 22-м особенно, иногда в 23-м.

В. Д.: А Винокур там бывал?

А. Р.: Нет, не бывал. В это время Винокур, хотя и сотрудничал в ЛЕФе, резко менял ориентацию, такую — в антилефовскую. Поэтому, конечно, его там встретить было невозможно.

В. Д.: Уже менял ориентацию в это время? А кроме Асеева из поэтов кто бывал? Асеев тоже в карты играл?

А. Р.: Ну, Асеева — не часто... Больше никого не видал, по-моему. Нет, никого больше не видал. Ну, у нас были свои дела, так что мы обычно сидели в одной комнате, а в другой комнате был Маяковский со своей компанией.

В. Д.: Картежной, да?

А. Р.: Да, с картежной.

В. Д.: А вы его слышали когда-нибудь?

А. Р.: С эстрады никогда не слышал, только знаю по записям плохим. По совести сказать, мне очень не нравится его манера чтения. Насколько мне нравится манера чтения Есенина, настолько мне не нравится манера чтения Маяковского, потому что она, на мой взгляд, — старая такая манера эстетствующих символистов, как это ни грустно!

В. Д.: Как? Его?! А где ж вы его слышали?

А. Р.: Да, ну запись...

В. Д.: Ах, только запись!

А. Р.: Известные записи. Это Роман Якобсон восстанавливал в Америке. В результате довел ее до кондиции, как говорят.

(Цитирует нараспев, подражая Маяковскому, утрируя его манеру):

«Светить всегда,

светить везде,

до дней последних донца,

светить —

и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой —

и солнца!»

Ну, пожалуйста. Здрастье. Это ж певческая манера декламации, которая лично мне претит. Вот и все.

В. Д.: Я понимаю, но только вы тут ошибаетесь в том смысле, что...

А. Р.: Но эти самые лесенки свои он хорошо читает.

В. Д.: Вы его самого, значит, не слышали?

А. Р.: Нет, с эстрады я его не слышал.

В. Д.: В Доме ученых в 24-м году он уже читал свои стихи (*передает другую манеру чтения*): «Светить всегда! Светить везде!» — обрывая...

А. Р.: Нет, нет, нет, нет.

В. Д.: Странно.

Об университетских занятиях

А. Р.: Ну, вот, теперь я... Погодите. Еще должен упомянуть об одном моем университетском учителе, с которым я потом много встречался и в дальнейшем. Это Александр Сергеевич Орлов. Он был чудаком, талант и сквернослов. Он вел тогда семинар по древнерусской литературе. И вел его ужасно оригинально. Ну, как-то начинал с какой-то ерунды, ничего не понимали, потом вдруг выяснялось, что он подводит к какому-то важному моменту для понимания средневековой поэтики. И он сумел нас заинтересовать этой поэтикой, полюбить ее. Мы читали доклады, в том числе я ему сделал доклад об одной авантюрной повести XVIII века в связи с «Тысяча и одной ночью». В связи с чем мне приходилось с ним в домашних условиях видаться и по-разному. Когда я этот доклад сделал, он мне подарил свои книжечки о воинских повестях и Катырёве-Ростовском с личной надписью, что я свято храню. А потом я еще слушал его доклады в Обществе любителей словесности и в ГАХНе. И еще раз убедился: до чего этот человек талантлив!

В. Д.: А Михаила Михайловича Покровского вы не слушали? Античника?

А. Р.: Нет, я его хорошо знал по заседаниям, но слушать я его не слушал, потому что это не входило в мой профиль университетский.

Надо сказать, что мне приходилось много сталкиваться с Павлом Никитичем Сакулиным до начала 22-го года. И по кружку и по университету. Он читал какие-то странные курсы.

В. Д.: Синтетические.

А. Р.: Которые подобие универмагов были, потому что тут были и какие-то теории эстетические разные, тут были и факты новейшей русской литературы, и Лев Толстой, и еще что-то. Одним словом, универмаг, но без всякого стержня. Так что малопомалу я стал отходить от Сакулина, и наоборот, старался всячески против этого идти, потому что мне этот вот безразличный синтетизм, эта эклектика казалась совершенно вредным занятием. Так мы разошлись, и я уже потом с Павлом Никитичем... Видел его в ГАХНе, но уже издалека, что называется.

Увлечение лингвистикой

Вот тут у меня возникло некоторое твердое решение. Из-за антипатии к истории литературы XIX века и из-за беспросветного вот этого сакулинского хаотизма, этих курсов-универмагов, и через общение с Михаилом Александровичем Петровским, Бриком, и других встреч и докладов в лингвистическом кружке я решил порвать с литературоведением и углубиться в лингвистику.

В. Д.: Так, значит, вы уходите в лингвистику?

А. Р.: Да. С начала 22-го года.

В. Д.: Александр Александрович, можно тогда здесь дополнительные и расширяющие вопросы, что вы обходите. Вы, когда говорили о Маяковском, сказали, что вам очень нравится манера чтения Есенина. А в каком виде вы Есенина видели?

А. Р.: А это вот дальше будет.

В. Д.: Да, как раз 22-й год.

А. Р.: А это будет, будет, будет.

” Вот для этого отказа от литературоведения и перехода всецело на лингвистические рельсы у меня был теоретический тезис, а именно: надо изучать данность, а не то, что за ней стоит. Данность — это текст и его морфология. А текст — это прежде всего язык.

И хорошим поэтиком, специалистом по поэтике может быть лишь тот, кто хорошо и правильно понимает язык. Укреплялось

это мнение еще и в общении с Дмитрием Николаевичем Ушаковым, который становился мне все ближе и ближе. И моя влюбленность в него росла и дожила до настоящего времени.

Как-то раз у моего отца на блинах был Алексей Евгеньевич Грузинский, тогда председатель Общества любителей российской словесности, и мой университетский преподаватель Иван Григорьевич Голанов. Я им изложил свою точку зрения, и они ее одобрили. Грузинский сказал: «Поэтика от вас никогда не убежит. Став лингвистом, вы ее лучше поймете». Вот с тех пор я и стал лингвистом. И усердно посещал лекции не только тех, кого я уже знал. Например, лекции приехавшего в Москву Афанасия Матвеевича Селищева по сравнительной грамматике славянских языков. Стараясь и в области компаративистики найти что-то свое.

В последний год пребывания в университете я усердно занимался всякими лингвистическими предметами: литовским языком, а позднее санскритом у Михаила Николаевича Петерсона, слушал специальный курс его о типологии языков. Работал в семинарии Александра Матвеевича Пешковского и слушал его специальный курс по синтаксису. Даже ходил на лекции по готскому языку Максима Владимировича Сергиевского, хотя мне это и было по программе не нужно. Перед окончанием университета нам полагалось написать работу, которую тогда называли «кандидатская», теперь называют «дипломная». Вот эту самую работу писали мы в содружестве: Татьяна Александровна Борзова, дочь известного географа, Надежда Васильевна Вахмистрова еще тогда и я, разделив материал. Этот материал был «История о великом князе Московском» Курбского, писателя замечательного по своей стилистической одаренности.

Работа над толковым словарем

Тут же было еще одно интересное предприятие, в котором мне пришлось участвовать. В 22-м году я, мои сверстники и старшие товарищи были привлечены к выборке лексического и грамматического материала из сочинений писателей XX века для нового словаря. Это был первый этап работы над будущим ушаковским словарем.

В. Д.: Это какой же год?

А. Р.: 22-й год.

В. Д.: Уже тогда начали?

А. Р.: Да. Вот тогда началась эта работа, но потом она на долгие годы прекратилась. Мне достался материал — тексты Пришвина. Я впервые и в обязательном медленном чтении, поскольку так это надо было по работе, познакомился с этим замечательным писателем. А потом добрая дружба с ним дошла до его кончины.



Михаил Михайлович и Валерия Дмитриевна Пришвины с Надеждой Васильевной, Александром Александровичем и Машей Реформатскими

В. Д.: Значит, словарь остановился в это время?

А. Р.: Да, да, да. Было так, что собран был материал, потом этот материал лежал в бывшем Наркомпросе на Сretenском бульваре. Он начал подмокать, его молодые люди спасали, эти карточки. Потом его перевезли зачем-то в Ленинград. И уж только к 30-м годам вернулось это все обратно в Москву. Вообще ужасно печальная была судьба этого всего дела. И каким образом все-таки это кончилось победой, выходом четырех томов словаря — это чудеса.

В. Д.: Да, очень много таких было...

А. Р.: Да, таких историй было порядочно.

В. Д.: А Винокур участвовал тоже в нем?

А. Р.: В словаре?

В. Д.: Да.

А. Р.: Участвовал, именно в последнем этапе. Он, конечно. Ушаков, он и Ожегов. Они были последней тройкой, которая работала, потому что в то время Томашевский и Ларин были в Ленинграде, а Виноградов был вообще в некоторых сетях.

В. Д.: Да.

А. Р.: Так что этим самым все отпало, и Винокур был одним из самых активных участников.

В. Д.: А до того, как он попал в сети, Виноградов активно работал?

А. Р.: Активно. Главным образом вот он и разрабатывал эту систему пометок или ремарок, которые там есть, стилистических. Вот это его. И занимался по преимуществу служебными словами. Это тоже мне известно. Но в тот период, когда я близко сталкивался с теми, кто заканчивал словарь, уже Виноградов отошел, и ленинградцы тоже отошли.

В. Д.: Он почему-то очень потом недолюбливал Винокура?

А. Р.: Господи! А кого он долюбивал? Он всех недолюбивал. Но это другой вопрос и другая страница жизни.

Кружок по морфологии анекдота

Итак, значит, я стал лингвистом через все то, что я сейчас рассказал. Окончили мы университет в июне 23-го года. И уже окончив университет, мы организовали еще один кружок на, так сказать, дрожжах университетских. По морфологии анекдота.

В. Д.: Вот это очень интересно.

А. Р.: Полагая, что анекдот — микрокосм новеллы и с него надо начинать. А организаторами были: Осип Максимович Брик, Михаил Александрович Петровский, Леонид Петрович Гроссман, мои университетские товарищи и я.

В. Д.: То есть Брик и Гроссман были под одной, так сказать, крышей, крышкой.

А. Р.: Ну, так что же? Да, тут эта проблематика и того, и другого, и третьего очень интересовала, поэтому это нас все объединяло. У нас была большая комната в отцовской квартире, значит, там мы собирались. Ну, так или иначе это распалось по разным причинам.

В. Д.: Каким же?

А. Р.: Это уже неважно. И вот среди моих старших товарищей, которые в 22-м — 23-м году имели на меня сильное влияние, я на первое место ставлю покойного Максима Максимовича Кёнигсберга. Кёнигсберг кончал 7-ю гимназию. Он был одноклассником Михальчи и Чичерина Алексея Владимировича.

В. Д.: Кёнигсберг — фамилия?

А. Р.: Да. Он был человек исключительно талантливый, эрудированный и разносторонний. Мы с ним любили и пофилософствовать, и поиграть в шахматы. Он меня привлек к работам Густава Густавовича Шпета, а через Шпета и к Гуссерлю.

Густав Шпет

В. Д.: Минуточку, вот здесь я попросил бы вас немножечко развернуть... Относительно, во-первых, Густава Густавовича Шпета, если вы что...

А. Р.: Вот, вот, вот, я это и развертываю.

В. Д.: Характеристику его, потому что он сам по себе очень такая особняком стоящая и очень...

А. Р.: Вот погодите. Тут об этом я хотел как раз сказать, что в 23-м году мы с Надеждой Васильевной Вахмистровой прошли два семинария Шпета в Институте слова, не в университете. Один назывался «От Декарта до наших дней», а другой был специальный такой по книге Гуссерля «Ideen zu einer reinen Phänomenologie»⁴. И я до сих пор ношу в себе большую благодарность тому, что я почерпнул в этих семинариях.

⁴ «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии»

В то время я старательно штудировал «Логические исследования» Гуссерля, его же статью «Философия как строгая наука». И вот весь этот комплекс для меня оказался весьма плодотворным в будущем. Я помню, как-то раз (это уже было гораздо позднее) были мы на одном заседании в ЦК в отделе науки, где зашел разговор, и Виноградов Виктор Владимирович говорит: «Ну, я знаю, у вас ведь это идет от Шпета, от его книги о Гумбольдте». Я говорю: «Верно, что от Шпета, но нет, не от книги о Гумбольдте, а от его „Эстетических фрагментов“ 22-го — 23-го года». Вот когда это все начало формироваться.

В. Д.: Вы считаете, что Шпет как эстетик — самостоятельная фигура?

А. Р.: Совершенно исключительная фигура, блестящая фигура и человек, который, к сожалению, не мог развернуть до конца себя, но он оставил очень много таких бессмертных трудов. Всем рекомендую изучать и читать их медленно и аккуратно, потому что Шпет — один из моих очень важных учителей был.

В. Д.: Я пытался записать дочь его, но она, к сожалению, умерла.

А. Р.: Ленору Густавовну.

В. Д.: Да. К сожалению, она умерла.

А. Р.: У него ведь две дочери: Маргарита и Ленора. Ленора — у Образцова заведующая литчастью. А Маргарита — я не знаю, что она делает. Она, по-моему, мать балерины этой знаменитой теперешней, Максимовой.

В. Д.: Я помню, что я учился с ней вместе. Но вот я пытался сейчас ее и такую Татьяну Венцель записать, вот именно в связи со Шпетом.

А. Р.: Ну, я не знаю, насколько Маргарита Густавовна вообще эрудированна, потому что она как-то по другой линии пошла. Я ее мало знаю очень. Ленору больше знал по университету.

В. Д.: Вот мне очень важно, чтобы кто-нибудь сказал о Шпете, потому что это ученый, о котором, собственно, нигде, как-то...

А. Р.: Ну, дак он...

В. Д.: Все знают, и никто...

А. Р.: Во-первых, он был очень колючий. Он был озорной. Он любил иногда всхулиганить, что называется. Какой-нибудь афоризм такой выпустить или какой-нибудь такой эпиграммой запустить. Это он все любил. Но это был человек исключительно ясного аналитического ума. И этому я у него учился.

Конечно, о нем больше, чем кто-нибудь, может Николай Иванович Жинкин рассказать. Это его непосредственный ученик, который с ним вместе работал и в свое время хлопотал о его реабилитации и добился толку.

В. Д.: Добился? Он реабилитирован?

А. Р.: Добился. Да, да, да. Все было сделано. Николай Иванович это лучше меня все знает.

В. Д.: Он за границей умер или в ссылке?

А. Р.: В ссылке. И как он умер — пока это толком неизвестно. Но во всяком случае, его нет. Они вместе с Михаилом Александровичем тогда вот...

В. Д.: Петровским.

А. Р.: Были репрессированы, и после этого мы их не видали уже.

В. Д.: Уже в 30-е годы?

А. Р.: Да, это было, когда было издательство Academia, и вот тут все были интересные вообще... Но это совсем другая эпоха уже, и все такое прочее.

В. Д.: Ведь Шпет одно время преподавал в гимназии.

А. Р.: Да, тоже было дело.

В. Д.: В Алфёровской гимназии, в которой как раз Надежда Васильевна училась. И я там учился, только позже, полгода всего. И брат кончал ее. И там был совершенно изумительный состав преподавателей, в том числе...

А. Р.: Там, знаете, еще Лосев преподавал, Алексей Федорович.

В. Д.: Лосев даже?

А. Р.: Да, да, да.

В. Д.: Я знаю, что там преподавал Плетнёв, Бахрушин.

А. Р.: Там вообще было много народу интересного. Вот и Шпет преподавал тоже. Так вот, значит, эти два семинария, которые мне очень много дали.

Поступление в РАНИОН

По окончании университета Дмитрий Николаевич Ушаков, как это говорилось по-старому, представил меня к оставлению для подготовки к... Но в это время дело изменилось. Был организован так называемый РАНИОН, то есть скорее организована, потому что это Российская ассоциация научно-исследовательских...

В. Д.: Институтов общественных наук. Волхонка, 14.

А. Р.: Общественных наук. Совершенно верно. Вот так и расшифровано. Но «РАНИОН образовалась» — это все равно для меня, что «доктор пришла». Такие вещи я себе не позволяю. И вот там...

В. Д.: А «доктор пришла» вы не позволяете?

А. Р.: Нет, ни в коем случае. Вот там можно было пройти аспирантуру. Я попал в РАНИОН. Там мы назывались «научные сотрудники второго разряда», не аспиранты, тогда этого не было. А первого разряда научные сотрудники там были такие, как Розалия Осиповна Шор, которая вела уже занятия с аспирантами, Борис Исаакович Ярхо и некоторые другие.

В. Д.: А Ярхо что такое? Я его только дважды видел.

А. Р.: Стиховед с колоссальной памятью, человек очень одаренный, но довольно узкого такого профиля. Поэтому мы с Бонди с ним в ГАХНе воевали, но об этом опять несколько позже расскажу.

В. Д.: Но это же очень важно.

А. Р.: Моим научным руководителем был Дмитрий Николаевич Ушаков. Он же и возглавлял там лингвистическую...

Афанасий Матвеевич Селищев был руководителем Петра Петровича Свешникова и Андрея Ивановича Павловича, известных в будущем славистов. Максим Владимирович Сергиевский — Дитмаром Эльяшевичем Розенталем. Это был первый набор аспирантов-лингвистов советского времени.

В. Д.: И не только лингвистов. Там был одновременно первый набор и литературоведов.

А. Р.: Это возможно, но это я не знаю.

В. Д.: Поспелов, Беспалов — это все одновременно.

А. Р.: Да.

В. Д.: Я вот вас очень прошу остановиться здесь немножко на Максиме Владимировиче Сергиевском.

А. Р.: Так видите, с Максимом Владимировичем Сергиевским я был связан в 30-е годы, а не в это время.

В. Д.: Это не так важно, но чтобы просто не выпустить.

А. Р.: Да в это время он был для меня еще малоизвестным.

В. Д.: Он был деканом филологического факультета, заместителем декана.

А. Р.: При мне не был. При мне деканом был Кузовков. Так это же я говорю о 23-м годе.

В. Д.: 23-й год, но это все равно. В 26-м году.

А. Р.: А, это тогда меня в университете не было, так что этого я вовсе не знаю.

В. Д.: Вы считаете его ученым?

А. Р.: Он очень способный человек, но очень небрежный человек. Но об этом надо потом говорить.

В. Д.: Вы попали в аспирантуру, значит, в 23-м году?

А. Р.: Да, в 23-м году. Но попасть в эту аспирантуру было не так просто. Первоначально надо было пройти коллоквиум, который принимали Ушаков, Владимир Максимович Фриче и Валерий Яковлевич Брюсов.

Валерий Яковлевич, любивший щеголять своей филологической начитанностью, приставал ко всем, заставляя проспрягать по-санскритски глагол «быть». Но нас этим трудно было запугать, потому что мы, будучи еще в университете, занимались с Михаилом Николаевичем санскритом. Но все-таки Надежда Васильевна Вахмистрова не выдержала этих приставаний.

И когда Брюсов задал ей вопрос: «А что вы можете рассказать о китайском стихосложении?», — она, прищелкивая по столу лайковыми перчатками, ответила: «Не больше, чем вы, Валерий Яковлевич, рассказывали нам на лекции: „Я потому и не переводил китайских поэтов, что никак не мог усвоить принципы китайского стихосложения“».

В. Д.: Брюсов сказал?

А. Р.: Да, Брюсов сказал на лекции, а она ему это напомнила. Этот ответ и особенно жест перчатками очень понравились Дмитрию Николаевичу Ушакову. И он часто потом об этом поминал. Но вообще Брюсов тут вел себя комически, конечно.

В. Д.: Дорогой мой, так что же вы о Брюсове-то ничего не говорите вообще?!

А. Р.: А что мне о нем говорить? Очень скучный поэт и очень нудный человек был, вот и всё.

В. Д.: И вы так этим и ограничитесь?

А. Р.: Для меня хватит.

В. Д.: Вы его не...

А. Р.: Нет, вот Андрей Белый — это другое. Это человек замечательный. Но, к сожалению, я с Брюсовым-то сталкивался больше, чем с Андреем Белым, но это ни к чему не привело.

В. Д.: Так что вы учеником его себя не считаете?

А. Р.: Кого? Брюсова? Упаси господи! Что вы! Это быть не могло и не должно быть.

Прошедшие вот этот указанный коллоквиум (а здесь, кстати, не заваливали) должны были далее пройти экзамен, который принимали Владимир Максимович Фриче, Кузовков, экономист, тогдашний декан университета, и Серёжников, брат известного декламатора и теоретика декламации В. К. Серёжникова. Я не помню его инициалы.

В. Д.: Тот поэт — Василий Константинович Серёжников.

А. Р.: Ну, вот, да.

В. Д.: Этот преподаватель философии, марксизма — Виктор Константинович Серёжников.

А. Р.: Может быть, может быть.

В. Д.: Оба они В. К.

А. Р.: Вот тут-то уж и заваливали! Так просыпались и Надежда Васильевна Вахмистрова, и Дмитрий Евгеньевич Михальчи, и Сергей Иванович Дмитриев — наша компания. Очень забавный был эпизод. Забавный эпизод произошел с одним милым старичком-учителем, пытавшимся тоже поступить в аспирантуру. Он был педагог-русист, в железных очках, с седым ежиком на голове и к тому же он окал по-володимирски. Почему-то он сразу попал к Серёжникову, который сидел в картузе и лущил семечки.



На вопрос экзаменатора: «Маркса читали?» — скромный учитель отвечал: «Да вот на святках полистал маненько». «Вон!» — зарычал на него Серёжников.

Александр Николаевич Зарослов, вот этот самый учитель, потом до самой смерти, в 43-м году, работал лаборантом в кабинете языка Московского городского пединститута и был очень нужным и полезным помощником нам, преподавателям.

В. Д.: А вы сдавали Серёжникову сами?

А. Р.: Погодите. Мне на этом экзамене чудовищно повезло. Попал я сначала к Кузовкову и на тройкучто-то ему провакал насчет ренты, а знал я политэкономии в объеме очень тощей, маленькой книжечки Богданова.

В. Д.: Не очень тощей.

А. Р.: Ну нет, ну что ж, разве это... Это за одну ночь...

В. Д.: «Краткий курс экономической науки».

А. Р.: Ну да, за одну ночь можно было подготовиться к экзамену обычному, университетскому. Я Суханову там сдавал, получил «весьма». Да.

В. Д.: Суханову?

А. Р.: Да, Суханову. Такой был меньшевик.

В. Д.: Да, я знаю его и жену.

А. Р.: Да, я забыл еще об одном сказать. При подготовке мы так разделили труд: Сергей Иванович Дмитриев читал Маркса, а я читал Энгельса, Плеханова и другие указанные труды. А потом друг другу рассказывали, что знаем.

По какому-то счастливому случаю ко второму экзаменатору после Кузовкова я попал не к Серёжникову, а к Владимиру Максимовичу Фриче, который знал, что очень его интересовавшая статья из одного только что вышедшего сборника в Германии, а именно статья Фосслера «О границах социологии в языке», находится у меня. А дал мне ее недавно приехавший в Москву приятель, профессор Евгений Максимович Браудо, музыковед и литературовед. Я рассказал Фриче, в чем суть той статьи, потом мы с ним побеседовали о Плеханове. Тогда он объявил комиссии, что я, Реформатский, его, Фриче, ученик, и что меня надо принять в аспирантуру.

В. Д.: Значит, таким образом вы избежали Виктора Серёжникова.

А. Р.: Да. Избежал.

В. Д.: И попали в аспирантуру.

А. Р.: И попал.

В. Д.: Вот. Ну, а о самом Фриче вы не хотите чего-нибудь добавить?

А. Р.: Да нет, что мне добавлять? Я с ним мало сталкивался, кроме вот того, что я рассказал. А кроме того у меня неприятный осадок, так как он возглавлял в дальнейшем в Комакадемии кампанию, направленную против Поливанова. А это малосимпатичная страница в нашей науке.

В. Д.: Да, значит, он вмешался в лингвистику.

А. Р.: Да, да, да.

В. Д.: Кажется, во главе этой кампании, насколько я помню, стоял такой Аптекарь?

А. Р.: Аптекарь, да. Это был просто проходимец и жулик, который что угодно себе позволял. А, к сожалению, Фриче таких

людей поддерживал. Это очень все грустно, но бог с ними.

В. Д.: Пожалуйста, продолжайте.

Работа в издательстве «Молодая гвардия» и подработки

А. Р.: Вот в то время, о котором сейчас речь шла, моя жизнь резко изменилась, а именно: Надежда Васильевна Вахмистрова стала моей женой. С ноября 23-го года. И жить было довольно трудновато, поскольку у меня был сын от первой жены и, как говорится, были маленькие, но две семьи.

В. Д.: А вы были женаты до этого?

А. Р.: Я был женат и имел сына.

В. Д.: А что с этим сыном случилось?

А. Р.: А он химик, ему пятьдесят два года.

В. Д.: Значит, есть еще один химик Реформатский?

А. Р.: Да, но я его десять лет, нет, больше, не видел.

В. Д.: В общем, у вас с ним нет связи.

А. Р.: Нет, никаких связей не имею. Да, так вот, было жить трудновато. Нужно было не только быть в аспирантуре, а там давали только сорок рублей в это время, но и служить. Служил я в издательстве «Молодая гвардия», куда меня пригласили работать мои приятели по ОПОЯЗу Петр Александрович Щелканов и Исаак Борисович Эйдельман, которые там работали. Кроме того еще и прирабатывать. Чем прирабатывать? Во-первых, корректурой, которую я доставал через издательство, а также переводами, в чем мне помогала Надежда Васильевна, и в том и в другом. Переводы нам давало издательство «Прометей», сотрудничавший там доктор Берковец. Я переводил для сборника «Ленин в европейской поэзии», составителем которого являлась Надежда Васильевна, стихи с немецкого, английского, польского. Там были стихи Мюзама, Бюхера, Бехера, Бартеля, Ричарда Стамби и других. А Надежда Васильевна переводила прозу. Кроме того, для «Энциклопедического словаря» того же издательства я писал заметки. Очень странный подбор тематики: по музыке, философии и по профдвижению.



Надежда Васильевна Реформатская (Вахмистрова), 1930-е гг.

Занятия в РАНИОНе

В. Д.: Почему по профдвижению?

А. Р.: Очень странное сочетание...

В. Д.: Потому что вы были когда-то председателем месткома?

А. Р.: Не знаю. У меня были под руками материалы, которые мне позволяли это делать. День был сверхуплотнен, как видите. А в РАНИОНе как-то дело шло вразброд. Приходили Фриче и Переверзев и советовали что-то такое делать социологическое. Помню, как Валерьян Федорович Переверзев поучал: «А вы фонетику изучайте социологически». Очевидно, он не знал известного письма Энгельса к Блоху.

В. Д.: Я тоже не знаю. А о чем оно?

А. Р.: А, полезно знать.

В. Д.: А что?

А. Р.: Где он говорит о том, что нельзя вульгарно сводить факты языка к фактам бытия и к существованию вообще общества. Так нельзя.

В. Д.: То есть это уже смыкается с новейшим языкознанием сталинским.

А. Р.: Это очень умное соображение, которым Энгельс таким вульгаризаторам того времени ответил. А, к сожалению, вот этого не знали.

В. Д.: А ведь, в сущности говоря, к этому и сводилось обратное: к сведению фактов бытия... Помните, вот это базис...

А. Р.: Ну да. Вот, нельзя путать.

Ну, что касается самого метода воспитания, то тут была пестрота. С одной стороны, появились какие-то новые предметы, например, история лингвистических учений, которую вела Розалия Осиповна Шор. Это было ново и интересно. Продолжали заниматься с Петерсоном санскритом, а по программе подготовки следовало то делать, что делалось обычно в старину при сдаче экзаменов для магистерских экзаменов.

В. Д.: Магистерских. Магистерских.

А. Р.: Магистерских.

В. Д.: Магистерских, да?

А. Р.: Да. Если первое было смешно, то второе было уже скучно. То есть я имею в виду под первым эти вот социологические разговоры, а под вторым вот этот старый метод. И в первый год все, большинство, ограничились казенным отчетом, мои-то товарищи. А я провел некоторое исследование по русским летописям и там выявлял некоторые синтаксические явления, где напал на моего доброго учителя, а позднее сотоварища по работе Михаила Николаевича Петерсона, опираясь на мысли Потебни. Михаил Николаевич не только не был на меня в гневе, но очень педагогично мне разъяснил различие во взглядах на синтаксис Потебни и Фортунатова, за что я должен быть ему очень благодарным. А в дальнейшем я к помощи Потебни уже не прибегал.

В. Д.: Да. Вы, так сказать, с позиций потебнианских критиковали Фортунатова?

А. Р.: Ну, да, и в лице его...

В. Д.: Учеников?

А. Р.: Так сказать, внука его по науке Петерсона. Поелику Петерсон только что выпустил свой «Синтаксис» в то время.

В. Д.: И тогда же была издана книжка Потебни «Мысль и язык».

О литературной жизни 1920-х годов

А. Р.: Так «Мысль и язык» — это одно из переизданий. Вообще она давно была издана. Тут еще о некоторых делах попутно. Иван Иванович Гливенко, возглавлявший в то время «Главнауку», организовывал внутренние рецензии на текущую периодику. Мы, кончившие и кончающие студенты, тоже немножко на этом подрабатывали. Помню, с каким я удовольствием писал о первых впечатлениях в «ЛЕФе», где были помещены рассказы Бабеля. Для 20-х годов характерно постоянное кипенье в любой области творчества, поиски нового, проявление свежих и новых талантов.

В. Д.: И так во всем.

А. Р.: Во всем.

В. Д.: Вот вы оборвали вашу театральную линию.

А. Р.: А она сейчас вернется. В литературе обратили на себя внимание в то время ранние рассказы Леонова («Бурыга» и некоторые другие), публикации рассказов «Конармии» и о Бене Крике Бабеля, новеллы и пьесы Валентина Катаева, романы Андрея Белого, такие как «Котик Летаев», «Крещеный китаец», «Москва под ударом»; «Дьяволиада» и другие рассказы...

В. Д.: Булгакова.

А. Р.: Булгакова. А позднее и его пьесы.

В. Д.: А вы как сейчас...

А. Р.: Да, «Роковые яйца».

В. Д.: «Роковые яйца».

А. Р.: «Дьяволиада», «Роковые яйца».

В. Д.: Не роковые, а роковые.

А. Р.: Нет, роковые.

В. Д.: Потому что там все дело в том, что его зовут Рокк, тут игра на этом.

А. Р.: Да, игра на этом, но они все-таки роковыми оказываются в результате-то.

В. Д.: Это как жё де мо.

А. Р.: Ну, жё де мо, так жё де мо. Они начинаются как роковые, а кончаются как роковые. В этом и есть диалектика этих яиц (*смеются*).

В. Д.: А что вы с Леоновым... Дальше еще продолжали как-нибудь этим заниматься?

А. Р.: Ничего. Он порадовал, а потом стал огорчать, начиная с «Вора».

В. Д.: Писатель, который кончился, по-моему.

А. Р.: Да, да.

В. Д.: Вот в это время вышел замечательный сборник стихов Пастернака «Сестра моя — жизнь». Это было очень интересно.

А. Р.: Это уже переиздание.

В. Д.: Да. Первое издание было в 17-м году.

А. Р.: Это было первое, а тут вот только что-то было переиздано из раннего. Вообще этим можно было жить. Вот тут очень всех удивлял и пленял Сергей Есенин. Он часто выступал вместе с Анатолием Мариенгофом и Вадимом Шершеневичем, но совершенно не был похож на них. Помню один вечер в Политехническом музее, когда читали свои стихи Белый, как лунь, Федор Сологуб таким медленным голосом, удалой Вася Каменский, который был в дубленом полушубке, какая-то трапеция висела (потом мы с Каменским дружили даже) и, наконец, Есенин. Есенин встал на стол и со стола своим хрипловатым голосом проникновенно и неотразимо читал известные строчки: «Милый, милый, смешной дуралей» — о жеребенке, из не напечатанного еще тогда «Сорокоуста». И как он читал!

В. Д.: Да. Александр Александрович, а где это было?

А. Р.: В Политехническом музее.

В. Д.: А Белый что читал?

А. Р.: Тогда Белый еще там не выступал.

В. Д.: А Сологуб?

А. Р.: А Сологуб стихи читал.

В. Д.: Не помните, какие?

А. Р.: Нет, не помню, конечно. Такие размеренные, спокойные.

В. Д.: Белый выступал тогда в больших аудиториях. Я его слушал.

А. Р.: Может быть, но я-то ведь редко там бывал. Я в то время другим был занят.

В. Д.: «Рыдай, буревая стихия... Россия, Россия, Россия...»

А. Р.: Да, ну вот...

В. Д.: А Есенина вы слышали не один раз? Может, вы разовьете?

А. Р.: Нет, я только один раз его слышал. Именно поразили меня тогда эти строчки из «Сорокоуста». «Сорокоуст» еще не был напечатан.

Из другого. Маяковский радовал «Необыкновенным приключением», поэмой «Люблю», что означало «Лилия Юрьевна Брик, Лилия Юрьевна», по инициалам имени, отчества и фамилии, и некоторыми другими лирическими стихотворениями. Вот тут у меня какая-то абберация. По-моему, была книжка такая «Дювлам».

В. Д.: Книжки такой не было. Но была...

А. Р.: А что же тогда?

В. Д.: Но была афиша такая. Был вечер «Дювлам» — двенадцатилетний юбилей...

А. Р.: А какую-то я помню книжку, которую в результате этого все-таки я держал в руках.

В. Д.: «Люблю».

А. Р.: И там было много хороших стихов.

В. Д.: «Люблю».

А. Р.: Ну, «Люблю»-то — это отдельное издание.

В. Д.: «Лирика» была книжка.

А. Р.: Не знаю, не знаю, не помню, но вот эта книжка радовала.

В. Д.: «Дювлам» — это было название «Двенадцатилетний юбилей товарища Владимира Маяковского», который очень хотел, так сказать, отпраздновать его.

А. Р.: Да, это я помню. Помню, помню, что это происходило, но...

В. Д.: А вы не были на вечере?

А. Р.: Нет, не был.

В. Д.: Да, вы ведь один раз только видели.

А. Р.: Но ужасно огорчал рационализм программных таких лэфовских од его, например, «Рабочим Курска» ода. Это огорчало.

В. Д.: Там слова «ода» нет, кстати.

А. Р.: А мы его воспринимали как оду рабочим.

В. Д.: «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского».

А. Р.: Да, но дело в том, что очень надумано и очень рационалистично. Что еще было в это время? Ахматова молчала по тем и другим причинам. Гумилева уже не было в это время. Ну, вряд ли все-таки что-нибудь можно сопоставить с Маяковским, Есениным, как поэтами, и Пастернаком. Это было самое интересное, бесспорно.

В. Д.: Был еще Мандельштам, он выпустил «Камень».

А. Р.: Он как-то мимо меня прошел.

В. Д.: Когда Есенин читал со стола, то Мариенгоф... Вот вы говорили, выступал вместе... У вас от них есть какое-то...

А. Р.: Нет, от них никакого впечатления не было.

В. Д.: Мариенгоф, Шершеневич?

А. Р.: Шершеневич очень хорошо читал, но что читал — ничего не помню. Там какое-то стихотворение есть у него такое:

«Произошло крушение,

И поездов движение

Остановилось ровно

На восемнадцать часов»⁵.

⁵ Стихотворение Игоря Северянина

Что-то больше ничего не помню. Что это такое, чьи это стихи? Но это читал Шершеневич. Он читал ловко. Вот. Надо сказать, что в это время бурлило все. Одним словом, тут кто во что горазд действовали. И не было такой еще вот строгой формации, которая не по воле раппства могла произойти.

В. Д.: Раппства...

А. Р.: По воле РАППа, извините. Хотя Авербах уже немножко попробовал себя. Я ведь с ним сталкивался по «Молодой гвардии», где он был главный редактор журнала.

В. Д.: Когда?

А. Р.: Ну, это 22-й — 23-й, вот эти годы, когда начинал выходить журнал «Молодая гвардия».

В. Д.: И тогда уже...

А. Р.: Да, уже он тогда был...

В. Д.: Во главе РАППа-то он стал в 26-м только году?

А. Р.: Он командовал уже, а Ермилов у него был мальчишкой на побегушках. Как сейчас помню: «чего изволите» — и бежит. Но вообще это все неинтересно. Вот ведь в самой редакции этого журнала был только один умный человек. Это был пожилой литератор Соломон Яковлевич Штрайх, с которым я и дальше встречался и сохранил добрые отношения вплоть до его смерти.

В. Д.: А, так сказать, молодогвардейской, этой самой молодежи вы совсем не помните?

А. Р.: Ну, я помню, Жаров начинал, у него был первый сборник. Как он назывался, я сейчас не помню, но это известный — с чего он начинал вообще — такой сборник. Там были и недурные строчки, например, как сейчас помню: «По горячей насыпи пролягут рельсы дружною четой». Помню, я Жарову говорил: «А вот тут здорово у вас получилось». «Верно, — говорит, — здорово? Верно, здорово?» Тогда он был еще наивный и довольно симпатичный. Дальше он стал портиться.

В. Д.: Совершенно.

А. Р.: Безымянский был страшно важен всегда, невнимателен, груб. У меня самые отвратительные воспоминания о нем остались.

В. Д.: Да. И тогда он был груб?

А. Р.: Да. Очень забавное впечатление производил тогда Платонов.

В. Д.: Вот это очень интересно!

А. Р.: Он был молодой и... Я один раз его только видел в жизни. Он был почему-то на лекции Шенгели о «Войне и мире» Льва Толстого. Пришел в диком восторге оттуда, пришел и говорит: «Ребята! Что я слышал! Кого я слышал! Это было... Вот Наташа Ростова!» Потом шло: «Трам-та-ра-рам! Трам-та-ра-рам! А Наташа-то, вот она... Трам-та-ра-рам! Ее-то... Трам-та-ра-рам!» — это в таком роде, такой энтузиастический был мат.

В. Д.: Что вы говорите? Платонов?

А. Р.: Вот это единственное, что я запомнил от молодого Платонова.

В. Д.: А самого Шенгели вы слушали, нет?

А. Р.: Да, помню я его, нудный был человек. Но я его знал по заседаниям, по спорам с ним... Вот этот самый его «Трактат о стихе» схоластический, который хорошие стиховеды, конечно, всячески разделили под дракон, что и говорить.

В. Д.: Он, собственно, положительных упоминаний достоин только в одной области: он все-таки неплохой переводчик был.

А. Р.: Да вот в том-то и дело, что плохой.

В. Д.: Плохой?

А. Р.: Да. Я помню, это уже в Литинституте... Он тоже подвизался. Как-то мне звонил и приглашал на обсуждение его переводов из Байрона. Я почему-то не мог и не пошел. По совести сказать, у меня какая-то была такая оскомина от прежних всех разговоров. Не потому, что его Маяковский терпеть не мог, это своим чередом, это, в общем, дело Маяковского, а просто потому, что он на меня не производил приятного впечатления, сам Шенгели. Ну, так я и не пошел. Но потом мне говорили, что это перевод очень плохой. Переводчики хорошие говорили.

В. Д.: Сейчас его пытаются переводчики как раз немножко восстановить.

А. Р.: Ну, может, что-то у него и нашли...

В. Д.: «Трактат о русском стихе», конечно, плохая книжка. Маяковского-то разозлила его книжка «Как писать статьи, стихи и рассказы».

А. Р.: Да, конечно, все это очень такое кустарное дело под видом учености, а это самое плохое.

В. Д.: А он читал: «Такой тяжелый и простой огромный дом на Моховой. Гордясь своей фуражкой синей, студентом я вбегал сюда, в торжественный портал профессор вхожу я ныне...»⁶

⁶ «Какой высокий и крутой / Огромный дом на Моховой! / Гордясь своей фуражкой синей, / Туда студентом я вбегал. / Туда, в торжественный портал / Профессором вхожу я ныне».

А. Р.: Вы только с меня не требуйте цитировать стихи. Я собственных стихов не помню, хотя очень много их писал... А уж чужие стихи совсем перевираю.

В. Д.: Тем более такие плохие.

А. Р.: Перевираю и не помню.

В. Д.: Да что вы, у вас дивная память.

Московские театры

А. Р.: Теперь вот несколько слов о театре того времени. Это было еще, пожалуй, интереснее, чем литература.

В. Д.: Нет, о литературе вы уж очень скупо сказали.

А. Р.: Ну, а что мне говорить! Я ж к этому делу не имел отношения.

В. Д.: Но не только как специалист, но и как читатель! Читатель, посетитель. Но у вас не было времени ходить на вечера теперь уже.

А. Р.: Нет, нет, не было, тут уж не до того было: то надо писать в эту энциклопедию, то переводить стихичьи-то, понимаете, и аспирантура же была еще как-никак. Так что тут не до того было.

В. Д.: Вы когда кончили аспирантуру?

А. Р.: Я ее не кончал, я ушел из нее. Вот.

Но в театре, действительно, было интересно. Во-первых, прогремела только что «Турандот» вахтанговская. Это было, конечно, прямо каким-то шампанским таким благотворным на фоне всего прочего. Это было замечательно. Все эти молодые

артисты, с их озорством, с их талантливостью... Они покоряли, они привлекали. Это были и Щукин, и Симонов, и Завадский, и Мансурова, и Басов, и другие. Потом они поставили «Льва Гурыча Синичкина» — вещь, которую я смолоду любил и видел когда-то в неплохой постановке «Летучей мыши» у Балиева с Борисовым в заглавной роли. Но тут играл Щукин Льва Гурыча. Это было потрясающе. Он мог быть и смешным, и трогательным, слезу вышибал. Одним словом, это было замечательно. Слабее была постановка «Барсуков» леоновских. Все-таки не надо инсценировать никогда произведения, из этого не выходит пьеса.

А совершенно по-другому держал себя Камерный театр, в котором тоже было блеску много, потому что как раз это был расцвет выступлений Церетели, Румнева, Щирского в «Брамбилле», ну и конечно, Алисы Коонен. Несравнимой, удивительной.

В. Д.: Которая еще жива!

А. Р.: Я ее еще в Свободном театре когда-то видел в «Желтой кофте». Вот. Это было так. Но наряду с этим рос новый театр один. Он собственно не рос, а он перерождался из Первой студии. Это 2-й МХАТ. Первая студия была для нас очень привлекательна своим и «Сверчком», и «Двенадцатой ночью», и «Гибелью надежды». Прежде всего вот этими спектаклями.

В. Д.: «Эрик XIV» еще был.

А. Р.: Я не видал этого спектакля.

В. Д.: Там Чехов тоже играл.

А. Р.: Знаю. И Вахтангов в очередь играли. Но когда Чехов Калеба играл, а Текльтона играл Вахтангов — этого забыть нельзя. Я два раза видел этот спектакль в таком составе. Это удивительно было.

Образовался 2-й МХАТ. 2-й МХАТ был такой интересный театр до поры до времени, что все время его каждую постановку ждали с нетерпением. Они были очень разные, и очень по-разному к ним приходилось относиться. Например, Гамлет с необыкновенным совершенно Чеховым, но весь надрывный, сумрачный. Правда, все эти придворные во главе с Полонием, которые в виде серых мышей ходили, — это было в своем роде очень замечательно. Но Гамлет, каким его давал Чехов, привлекал, но не убеждал.

В. Д.: Да, это был очень странный Гамлет.

А. Р.: Да. Затем была постановка, совершенно другого типа вещь — это очень легковесная, но великолепно скроенная пьеса «Евграф, искатель приключений» Файко. Удивительно, как Файко умел пьесы писать! И там блеснули все тогдашние заправилы: Бирман, Чебан, Гейрот, Берснев, Дурасова. Вот никогда не забудешь, когда эти два циркача сидят, и Берснев Дурасовой говорит: «Зося, жуй воблочку», — чтобы она замолчала и не лезла в разговор.

В. Д.: А вы из перечисленных вахтанговцев и таировцев никого не помните?

А. Р.: Погодите-ка, погодите. И один из самых замечательных спектаклей там была, конечно, «Блоха».

В. Д.: Да!

А. Р.: Замятин по Лескову. Это было чудесно еще благодаря тому, что оформлял это Борис Михайлович Кустодиев. Это гениальная постановка была. И тут, конечно, первую роль сыграл Кустодиев, не говоря о Замятине, который великолепно понял Лескова и великолепно его дополнил, превратил в пьесу.

В. Д.: Ловлю вас тут на слове.

А. Р.: Да.

В. Д.: Потому что вы несколько фраз раньше сказали, что инсценировать не надо прозу, из этого ничего не получается.

А. Р.: Да-да-да. Ну для этого...

В. Д.: Вот видите, иногда получается.

А. Р.: Ну, это особая штука, это все-таки... Просто особая. Это не роман. Романы не надо инсценировать.

В. Д.: Роман, конечно, не надо инсценировать.

А. Р.: Делать постановки вроде «Анны Карениной» — вот этого не надо. А такая вещь как «Блоха» вышла.

В. Д.: Вот. А Достоевского?

А. Р.: Ну, Достоевского — это тоже спорно: да или нет. Одни «да» говорят, другие — «нет». Не знаю. Это другой вопрос. Но это замечательно все там было, начиная с главных действующих лиц, допустим, с таких как вот Готовцев и Бирман, этих халдеев играли. Она же девка Меря. Тоже это немножко добавлено к Лескову, там девки Мери нет. Великолепен был и трогателен сам Левша — Волков. Чудесен был царь. В пьесе два царя в одного соединены. Это в основном Александр, а не Николай, конечно. Потому что он какой-то такой дурашливый, и его играл Попов, который потом шумом заведовал в МХАТе. Этот Попов был очень смешон, когда он выходил и говорил: «Сё за сёрт, сёрт их знает», — вот в таком роде. Это была замечательная штука. И эти Кисельероде, и другие министры, причем все тут было изумительно.

В. Д.: Я видел этот спектакль.

А. Р.: И свистовые, которые мимо остановочного пункта всё пересказывали. Очень было замечательно.

В. Д.: Очень хороший спектакль был.

А. Р.: Единственно кто был плох — это Дикий, который играл Платова. Он много старался, шумел, но был неубедителен. Платов должен быть такой ужасающий, сугробный мужик, а тут выходил какой-то такой хулиганистый и развязный человек. Это, конечно, было неубедительно. Но в целом замечательно. К сожалению, чем дальше, тем хуже становился 2-й МХАТ и перестал потом быть интересным.

В. Д.: Но Чехов же уехал.

А. Р.: Ну, я это знаю, что Чехов уехал, но был Берсенев, который много мог сделать. Был Владимир Афанасьевич Подгорный, близкий человек Чехову, который тоже оставался до конца 2-го МХАТа. Ну, многие... Бирман была и так далее. Ну, не вышло потом что-то. Это дело особое, я не театровед. Я только свои впечатления тех лет могу описывать.

Музыкальная жизнь Москвы

Очень интересна была, конечно, музыкальная жизнь Москвы в это время. Надо сказать, что переход от старого, так сказать, режима к новому в музыке совершился как-то эволюционно, а не революционно. То есть в первые годы революции вплоть до 20-го, допустим, продолжалась традиция прежнего. Вот был цикл Кусевицкого, был цикл под управлением Фительберга, бетховенский цикл, такие-сякие. Так, как было и раньше. Давались концерты Игумнова, Боровского, Добровейна, Могилевского и так далее. В скрябинские годовщины играл неутомимый пианист Боровский. Играл замечательно Скрябина.

” При чем вспоминаю один случай, когда он после большой программы, где были и сонаты, и поэмы, и этюды, и прелюды, вдруг на бис сыграл все двенадцать этюдов опуса 8-го. Теперь так не делается. Теперь сыграют одну штучку и раскланиваются. А он двенадцать этюдов, целую тетрадь сыграл на бис! Это потрясающее дело было.

В. Д.: Значит, концерты вы продолжали посещать?

А. Р.: Да, концерты очень усиленно, всячески я продолжал. Тем более что это ведь бывало вечером, так что уже тут я от всего остального был свободен. Очень важно, что в 22-м году в Москву переехал Генрих Густавович Нейгауз. И вот сразу человек покорила своей музыкальностью, своим артистизмом поразительным. В дальнейшем мне довелось быть с ним знакомым до самой его смерти и сохранить о нем самые замечательные воспоминания.

В. Д.: А сын его слабее, да?

А. Р.: Что-что?

В. Д.: У него ведь сын еще есть?

А. Р.: Да. Станислав очень талантливый, но неуравновешенный. А Генрих Густавович был человек такой, который умел правильно жить. Ведь их было трио. Был, значит, Пастернак, Асмус и Нейгауз. Это трио.

В. Д.: Да.

А. Р.: И потом, значит, хоронили Пастернака, когда Асмус говорил речь, а Нейгауз бросал первый ком земли в могилу. Потом Нейгауз умер, и остался один Асмус. Я тогда Асмусу написал стихотворение шуточное грустное по поводу того, что вот он заместитель. Он, значит, и.о. этого трио. А он мне ответил стихами же, что он временный, что он вриво, и не больше. Одним словом, такие у нас были с ним...

В. Д.: Александр Александрович, как вы думаете, Асмус согласится записываться?

А. Р.: Что вы говорите? Асмус...

В. Д.: Асмуса я бы тоже очень хотел записать.

А. Р.: Ну, что же, во-первых, он очень любезный и очаровательный человек, во-вторых, он очень интересный человек, исключительно образованный. И многих знал, и многое знает. И вообще с ним иметь какие-то взаимоотношения только приятно.

В. Д.: Я с удовольствием, я просто не знаю, как его... У меня к нему прямого хода нет. Может, вы мне немножко поможете?

А. Р.: Видите ли, это можно нащупать, какие-то подъездные пути...

В. Д.: Потому что просто являться, понимаете, с улицы...

А. Р.: Нет, я понимаю, что это не так. Нет, давайте как-нибудь... Видите ли, тут трудность техническая: он обычно ведь наезжает в Москву и уезжает в Переделкино. И там у него такой маленький домик есть, очень милый.

В. Д.: Я могу и в Переделкино приехать.

А. Р.: Да, но чтобы его поймать-то в Москве... Я не знаю, по каким дням он бывает, потому что он читал в университете в последнее время. И кажется, только в университете, больше уже нигде.

В. Д.: Но он, может быть, меня даже в лицо немножко знает... Я студентом даже был когда-то...

А. Р.: А в Литературном институте-то вы с ним разве не сталкивались?

В. Д.: Литературный институт был для меня эпизод. В университете я проработал двадцать шесть... Сейчас еще работаю

в университете, но на факультете филологическом проработал двадцать шесть лет.

А. Р.: Да.

В. Д.: И его там встречал, а до этого только студентом. В психологической аудитории он читал лекции по истории философии, у меня даже записки есть.

Постойте, вы перешли уже к музыке, то есть уже кончаете...

А. Р.: Погодите, погодите, вот это речь идет о музыке и о том, как мы жадно эту музыку воспринимали. И что новое появилось по сравнению с предшествующим временем. Вот были некоторые концерты в это время такого пестрого типа, сборные концерты. Это, конечно, не очень интересно в целом, но зато можно было послушать не только, например, как Южин читает «Василия Шибанова» Алексея Толстого, но еще замечательно, как Мария Николаевна Ермолова читала «Идет-гудет зеленый шум» Некрасова своим виолончельным голосом. Это было потрясающе, и я не раз слышал в ее исполнении...

В. Д.: Ну вот, о Ермоловой мне еще никто ни одного слова не сказал, так что это мне очень интересно.

А. Р.: Она уже не играла в театре, но в таких концертах иногда она выступала. Читала еще этих «Брюссельских кружевниц» своей приятельницы Щепкиной-Куперник Татьяны Львовны. И этот «Идет-гудет зеленый шум». Вот это замечательно было! Я многое простил Некрасову из-за того, как звучит этот «Зеленый шум» в устах Марьи Николаевны Ермоловой.

В. Д.: А вы как человек, начавший в 10-е годы осознавать уже искусство, антинекрасовец?

А. Р.: Да, скорее всего так.

Отношение к Мейерхольду

В. Д.: Александр Александрович, вы бросили театр, ничего не сказав о восприятии Мейерхольда.

А. Р.: А у меня ничего и нет. Я не ходил к нему.

В. Д.: Ах, так!

А. Р.: Да, и не ходил сознательно до очень позднего времени, а потом я видел... Правда, я видел «Рогоносца» в хорошем составе, но уже когда, собственно, это они в другом помещении играли. Но это было очень интересно — «Рогоносец». Но это позднее.

В. Д.: А «Лес», «Д. Е.»? Ничего?

А. Р.: Нет, нет, это я все не видал. Только «Рычи, Китай!», это очень бездарная пьеса...

В. Д.: «Рычи, Китай!» — это было в Театре Революции, по-моему.

А. Р.: Нет, ничего подобного, это было у Мейерхольда.

В. Д.: У Мейерхольда, да?

А. Р.: Попов играл старого китайца, а Бабанова играла китайчонка, который повесился. Это было трогательно, но там была почему-то настоящая вода. Вообще этот натурализм и механизм мейерхольдовский как-то мне был не по душе.

В. Д.: Значит, вы видели только «Рычи, Китай!». И что вы первое сказали?

А. Р.: Ну, «Великодушного рогоносца» я видел. Но я повторяю, это позднее все было.

В. Д.: Но как позднее? Нет, ну, все-таки Мейерхольд так...

А. Р.: В это время, в начале и в первой половине 20-х годов, я к Мейерхольду не ходил. В Москве тогда ходила такая частушка озорная:

Не ходи корова по льду,

Ноги разъезжаются,

Не пойду я к Мейерхольду,

Пущай он обижается.

Вот я примерно следовал этой частушке.

В. Д.: То есть это в основном на базе, так сказать, общественного мнения?

А. Р.: Нет, это было на основании воспитанного своего вкуса. Вот моему вкусу отвечал Вахтанговский театр и 2-й МХАТ. Я не увлекался Камерным театром. Он для меня был эстетским и каким-то ненужным. В это время, конечно, Малый театр мало что давал, впрочем, была чудная постановка «Снегурочки». Это Пров Садовский делал. Замечательная была постановка в начале 22-го года. А вот два театра — Вахтанговский и 2-й МХАТ — это мои театры были. А остальное — это не мое. Поэтому что я буду об этом говорить?

В. Д.: Ага. Так что вы избегаете... Вы, сейчас рассказывая, извлекаете, так сказать, ценности и обходите то, что вам...

А. Р.: Да нет. Ну, то, чего я не касался... Я вам только объясняю, почему я этого не касался. Вот все.

Надо сказать, что в это время у меня резко менялось отношение к тому же ОПОЯЗу. После 25-го года мы с Бриком уже не видались.

В. Д.: Ну, в каком отношении изменилось ваше...

А. Р.: В том смысле, что меня больше привлекала более глубокая наука, чем такая игра в науку, которая была в ОПОЯЗе. Так что тут я немножко был и против Шкловского настроен, и против Брика, и Маяковский меня огорчал своими вещами. Я от этого всего отходил. А какое-то было другое направление, умонаправление.

В. Д.: С Петром Григорьевичем Богатырёвым вы там сталкивались?

А. Р.: С Петром Григорьевичем я позднее познакомился, и мы были до самой его смерти большие друзья. Вот. Он у меня тут упоминается в другой связи. Что там у нас, осталось еще место, чтобы кончить с музыкой.

В. Д.: Немножко. Ну, с музыкой кончим и, пожалуй, на этом вообще закончим.

Приезды заграничных музыкантов. Отношение к Прокофьеву

А. Р.: Да, вот, хорошо, придется так сделать. Только о музыке тут, понимаете, самое интересное.

В. Д.: Ну, закончите о музыке. Пленка пусть вас не смущает.

А. Р.: Тут появилась новая полоса. Это общение с заграницей, приезды заграничных мастеров. И тут вот удалось послушать действительно замечательных дирижеров, как Отто Клемперер, как Феликс Вейнгартнер. 7-я симфония Бетховена — так, как он исполнял, я не представляю себе, что бы кто-нибудь мог делать. Тут же был Фриц Штидри, Пьер Монте, Оскар Фрид и целый ряд других. Были замечательные скрипачи. Йозеф Сигети исполнил 1-й концерт Прокофьева, совершенно нас пленивший, а Жак Тибо, погибший потом в катастрофе автомобильной, играл изумительно концерт Брамса. Так что тут, видите ли, мы были захвачены.

Я ходил не только в концерты, но и на репетиции, и генеральные репетиции. Каким-то образом была такая возможность, и я ею пользовался. В это время я вообще очень увлекался музыкой. Но самое главное, конечно, был Прокофьев и его приезды в Москву. Прокофьев нас ослепил, потому что это был, прежде всего, удивительный пианист с такой четкостью, такой удивительной ясностью ритмики и фразировки. А он играл много тогда. Он играл все свои двуручные концерты: 1-й, 2-й, 3-й и 5-й. Он играл сонаты все свои, к тому времени пять их было. Он играл и токкату, и танцы, опус 12-й и опус 32-й, «Сказки старой бабушки» и «Мимолетности». Одним словом, все-все, что тогда было существенного. И это было самое главное почему? Потому что это был наш композитор.



Он делал то, что нам было нужно, о чем мы мечтали. И великая радость вообще — в современнике найти себя и свое. А эту радость как раз принес Прокофьев.

В. Д.: Ну, давайте, мы на этом сейчас... Тут осталось немножечко... Может, новую тему не стоит начинать. Просто мы сегодня уже очень много сделали.

А. Р.: Да! Мы сделали по размерам, значит...

В. Д.: Три четверти.

А. Р.: Да-да-да, три четверти примерно...

В. Д.: Надо сказать, что в первой части ваш конспект несколько все-таки более подробный. Тут у вас уж слишком идет скороговорка.

А. Р.: А уж много событий. Их не уложишь ни во что, понимаете. Слишком много. Там-то событий гораздо меньше, ниточка-то тянется тоненькая. А тут-то пошла, понимаете, такая сеть кругом, что и сюда, и сюда. Вот, пожалуйста, глаза разбегаются, и надо что-то уже отбрасывать и что-то такое принимать.

В. Д.: Вот, вы понимаете, индивидуальные, так сказать, мемуары очень интересны и живы, но они менее значимы. А вот здесь вы прекрасно дали образ вообще 20-х годов, вот этой культуры 20-х годов.

А. Р.: Вот мне и хотелось дать то, чем мы жили, чем увлекались, что отвергали.

В. Д.: Да, интересно, только в ваших мемуарах Мейерхольд в первой половине... Как раз все почти, кого я записывал, говорили в первую очередь о Мейерхольде.

А. Р.: А я вот не говорил.

В. Д.: Да.

А. Р.: Нет. Тут у нас что-то разошлось дело.

В. Д.: Да. Тут, очевидно, другое. Я-то сам опоздал немножко уж к Мейерхольду. Но целый ряд людей Мейерхольда все-таки видел кое-кто.

А. Р.: Да, я с Мейерхольдом был один день знаком.

В. Д.: Даже знакомы были?

А. Р.: Да. Но опять это связано с музыкой.

В. Д.: Ну, скажите, скажите.

А. Р.: Я могу вам потом при случае наговорить об этом. Вы мне только напомните.

В. Д.: Да. Спасибо, Александр Александрович.

А. Р.: Значит, мы сделали тринадцать из девятнадцати, да?

В. Д.: Да, ну и это настолько конспективно, что здесь я буду просить развития.